

Я. НАУМОВ

ЧЕКИСТКА





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

В основу книги положены действительные события, происходившие весной 1918 года в городе Казани, куда переместились из Москвы основные силы эсеровско-белогвардейских заговорщиков — генерала Алексеева и «Союза защиты родины и свободы».

Сведения о готовящемся в Казани контрреволюционном восстании доходят до ВЧК. По заданию Ф. Э. Дзержинского производится проверка поступивших материалов. Сообщения подтверждаются.

Примерно в это же время в Казанский губком партии и в губчека обращаются партийцы и рабочие с заявлениями о концентрации в городе офицеров и их подозрительном поведении.

Чекистов в Казани небольшая горсточка. А время не ждет. Восстание может вспыхнуть в любую минуту. Проявляя удивительное мужество и находчивость, чекисты нащупывают подпольный штаб заговорщиков. Следствие устанавливает, что этот штаб связан с эсеровским подпольем, широко распространившимся в стране в то время.

По указанию Ф. Э. Дзержинского в Казань под видом савинковского эмиссара направляется ответственный сотрудник ВЧК. С помощью казанских чекистов он проникает в самый центр заговорщиков. Разматывается сложный клубок.

Центральной фигурой в книге является Вера Петровна Брауде, урожденная Булич, потомок философа-демократа П. Я. Чаадаева и великого русского химика А. Н. Бутлерова.

Автор книги Я. Наумов — юрист, много лет работал в органах государственной безопасности, хорошо знал В. П. Брауде.

- **Чекистка**



- [КАЗАНСКИЙ ОЧАГ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ](#)

- [ДОСТОЙНАЯ ЛЕГЕНДЫ](#)

- [ЛИКВИДАЦИЯ ОСИНОГО ГНЕЗДА](#)

- **notes**

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 17
- ☐ 18
- ☐ 19
- ☐ 20
- ☐ 21

Я. Наумов

ЧЕКИСТКА

СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КАЗАНСКОЙ ГУБЧЕКА
В. П. БРАУДЕ

КАЗАНСКИЙ ОЧАГ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Был погожий весенний день 1918 года. Ясное небо, без единого облачка. Жаркие солнечные лучи так и заливали землю, словно была не весна, а уже жаркое, чудесное лето.

В такое время жители Казани предпочитают пыльным городским улицам лес, привольные луга, речной простор. Город замер. Улицы опустели. Только множество расклеенных повсюду листовок, объявлений, приказов да шелушащиеся, как кожа ребенка после скарлатины, стены домов говорили, что в жизни этого всегда оживленного дворянско-купеческого города что-то переменилось. Дующий с Волги ветер поднимал облака пыли с давно не подметавшихся улиц, яростно набрасывался на обрывки плакатов и долго, упорно швырял их вверх, вниз, гоняя по пустынным площадям, улицам и переулкам.

На улицах показывались редкие прохожие, шли они торопливо, боязливо озираясь по сторонам.

Это странное безлюдье, эта непривычная тишина невольно вызывали тревогу, настораживали.

И заместителю председателя губернской чрезвычайной комиссии Вере Петровне Брауде это затишье было не по душе.

Многое кажется ей подозрительным, а особенно неизвестно откуда взявшиеся молодые самоуверенные люди в штатской одежде с военной выправкой, которые нет-нет да и появляются на улицах.

Вера Петровна задумывается: «Офицерье! Безусловно, офицерье!»

Их наплыв не случаен. Все это вызывает тревогу.

Вера Петровна идет к Гиршу Олькеницкому — секретарю губкома партии и председателю губчека.

— Неспроста, — говорит она, — эти типы облюбовали город. Неспроста они концентрируются здесь. Тишина обманчива. Она таит в себе всякие неожиданности. Уверена — контрреволюция плетет заговор. Не случайно исчезли вдруг отпущенные нами великодушно дружки Керенского — правые эсеры Калинин и Бартольд. В городе упорно поговаривают, что они ушли в подполье.

— Печальные новости. К сожалению, ты права. Не только у нас с тобой такое мнение: вся эта публика, нахлынувшая сюда в последнее время, очень не нравится нашим губкомовцам. Со мной уже говорили об этом товарищи из партийного актива. Вчера

заходили Аким Денисов, Ольга Волжина, Владимир Вегер, Ольга Гребенева. Они тоже считают, что офицеры не случайно облюбовали Казань, далеко не случайно. У золотопогонников хитрые и, скажем прямо, реальные расчеты. Они трезво оценивают обстановку и правильно считают, что расположенный в центре плеса Волги город Казань, как описывали его историки, ставший в XIX веке одним из крупных торгово-административных центров России, ничем с тех пор не изменился и остался именно торгово-административным центром. А это существенно важно. Население в Казани сама знаешь какое: рабочего класса раз, два и обчелся. Это не Нижний. Туда офицеры свои благородные носы не сунут — боязно. Вот и тянутся золотопогонники в Казань. Тут им вольготнее. Наши силы они, можешь быть уверена, подсчитали и не шибко боятся нас. Вот такие дела. Ты пришла весьма кстати. Всего пару часов тому назад заходили ко мне рабочие-железнодорожники. «Что вы, — говорят, — товарищи губкомовцы, дремлете? Или не видите, что в городе творится? Ведь офицеров полным-полно. И откуда только повылазили?»

Вера Петровна молча кивает головой: дескать, она сама так думает.

— А знаешь, — говорит она глядящему на нее Олькеницкому, — и у нас в губчека были рабочие порохового завода и заявили буквально то же самое.

— Ну вот видишь, — замечает Гирш, — рабочий класс чувствует, что к чему. И не удивительно: у него тысячи сердец, глаз и ушей, а нас, чекистов, горсточка — девять человек вся губчека, так что надо прислушиваться и не зевать. Тут дело явно не чистое. Конечно, в данную минуту утверждать что-либо определенное преждевременно. И все же... нам стоит немедленно начать проверку сигналов.

Способность Олькеницкого видеть существенное там, где другие ничего не замечали, порой восхищала Веру Петровну. В то же время она знала его особенность не сразу выкладывать все известное ему, главное оставлять напоследок. И на этот раз она не ошиблась.

Олькеницкий устало откинулся на спинку стула, потом взял со стола книгу и стал ее перелистывать, а после паузы, понизив голос до шепота, сказал:

— Из Москвы прибыли более определенные сигналы о золотопогонниках... готовится восстание и в Москве, и в некоторых губерниях. Это ориентировка^[1] Феликса Эдмундовича, а он уж не ошибается, — подчеркнул Гирш. — Город Казань наверняка входит в планы мятежников. Только вчера прибежал к нам учащийся художественной школы Мазунин и рассказал

любопытные вещи. «Офицеры, — говорит, — с каждым днем наглеют, устраивают балы в «Швейцарии» и за Казанкой. Не иначе — используют сборища для сговаривания и объединения».

Олькеницкий помолчал, потом продолжал:

— Давай поразмыслим, с чего и как начинать проверку. Только действовать нужно тонко и осторожно, так, чтобы офицеры не догадались, что мы их проверяем. Однако это не означает, что можно тянуть. Как проверять? Хорошо бы кого-нибудь из партийцев, бывших вольноопределяющихся, послать в союз безработных офицеров, пускай там потолчется, поищет знакомых, понюхает, чем они дышат.

— Идея! — воскликнула вдруг Вера Петровна.



Вера Петровна Брауде. 1918 год. Казань.

Олькеницкий выжидательно посмотрел на нее. Вера Петровна продолжала:

— Дмитрий Копко, новый товарищ, которого вы послали к нам на работу, ухаживает за сочувствующей нам девицей из дворянской семьи. У этой гимназистки двоюродный брат — поручик, активный деятель союза безработных офицеров. Не попробовать ли нам с этой стороны подобраться к офицерам. Митя — парень понимающий, цепкий, с огоньком. Через девушку,

если это сделать с тактом, он сумеет познакомиться с ее кузеном и попробует «подружиться» с ним.

— Ну что же. Идея неплохая. Давай поговорим с товарищем Копко и совместно обмозгуем, как лучше это сделать.

* * *

В этот день Вера Петровна проснулась раньше обычного, хотя накануне работала допоздна. Она торопливо приводит в порядок свой незамысловатый туалет и спешит к Олькеницкому.

Добравшись до губкома, Брауде ускоряет шаги. По лестнице почти бежит. Ночью были получены тревожные известия. До зарезу нужно видеть Гирша, которого вчера не удалось поймать. Впрочем, почему вчера? Сегодня. Ведь это было в пятом часу утра.

Однако, как назло, Олькеницкого нет ни в губкоме, ни в Совете. Где-то он застрял, чем-то, как видно, занят.

Очередное заседание Совета начинается без секретаря губкома партии. Вера Петровна волнуется. Ей очень нужен совет Гирша. Значит, хочешь не хочешь — надо ждать.

* * *

В течение заседания Олькеницкий так и не появился. Заседание Совета окончилось, и все его участники по установившемуся обычаю отправляются в столовую.

Столовая эта и ее посетители заслуживают того, чтобы их описать подробно. Раньше здесь была студенческая «столовка». Находится она в подвальном помещении на одной из людных улиц города. Найти ее было нетрудно, невзирая на отсутствие вывески. Издали бросается в глаза гостеприимно распахнутая дверь, из которой вечно валит пар, насыщенный запахами съестного.

Впрочем, местные остряки утверждали, что, судя по запахам, основные блюда готовят в столовой из прелых продуктов. Греха таить нечего — они были не так уж далеки от истины. Прелая перловая крупа да изрядно протухшая капуста являлись основными продуктами, из которых изготавливались почти все блюда. Разве что иногда меню украшалось такой роскошью, как чай с сахарином. Но это бывало не часто.

Когда посетитель столовой преодолевал «благоухающую» завесу испарений и глаза его привыкали к колыхавшемуся туману, он обнаруживал перед собой избитую каменную

лестницу, которая вела в «подземелье», в обширный, неуютный зал с обшарпанными стенами и лоснящимся от грязи, нависшим сводчатым потолком.

Столовая была невероятно запущена, ну а о ее запахах сказано уже достаточно.

Во всю стену расползся лихой, оставшийся от студенческих времен лозунг:

«Долбанем кирпичом, не глядя по чем!»

Столовую посещала самая разношерстная публика: тут бывали и меньшевики, и эсеры, и анархисты. Последнее время здесь можно было встретить даже тех самоуверенных молодых людей с военной выправкой и наглыми глазами, которые так насторожили губкомовцев, рабочих и чекистов.

Столовая начинала обычно заполняться после двух часов. Часам к четырем зал был уже набит битком. Чтобы расслышать сказанное соседом слово, надо было напрячь слух до предела, хотя сосед чуть не кричал во весь голос. Гвалт стоял невообразимый. Но сегодня, как сразу заметила Вера Петровна, здесь было необычайно пусто. Заняты были лишь отдельные столики. Стараясь не обращать на себя ничьего внимания, Вера Петровна прошла к угловому столику и села лицом к двери: отсюда удобнее всего было наблюдать за входящими. А она никак не могла, не имела права прозевать Олькеницкого, до того он был ей нужен. Но время шло, а Гирш не появлялся. «И куда он мог запропасть?» — думала Вера Петровна, нетерпеливо поглядывая на часы и краем уха прислушиваясь к разговору за соседним столиком, где сидела изрядно подгулявшая компания каких-то неряшливо одетых людей. Один из них, краснолицый мужчина с тусклым взглядом и отечными с перепоя мешками под глазами, заплетающимся языком разглагольствовал о «насилиях, творимых ныне над русским мужиком и интеллигенцией».

— Доколе всякие комиссары будут измываться над русским мужиком, стричь его, как овцу? Доколе будут попираць честь русского интеллигента? — вопрошал он, потрясая кулаками. — Русская интеллигенция... и-ы-к!.. никогда не запятнает себя соглашательством с диктаторами. Служить в их учреждениях из-за куса хлеба, из-под палки... свинство!.. Да, господа, свинство! Инте... Интеллигенция никогда не сядет за стол с филистимлянами, не продаст свое первородство!..

Эту витиеватую речь покрывает гул одобрения. Восторженно приветствуют собутельники вконец охмелевшего «оратора». Кое-кто из них даже пытается аплодировать. Слышатся возгласы: «Виват!», «Брависсимо!»

«Дерьмо из бывших, из вечных студентов, — заключает Вера Петровна. — Прикрываются небось студенческими билетами, чтобы агитировать против Советской власти».

Вера знает их лисьи повадки: чтобы не возбуждать подозрений, родовитая шваль, отпрыски княжеских, дворянских и всяких прочих фамилий подделываются под пролетариев, с упоением гнусавят они: «Мы грызем гранит науки, нас грызет нужда!» Такой публики в университете — хоть пруд пруди. Грызть гранит науки они и не собираются, тем более что и зубы у них далеко не молодые.

Между тем на столе, за которым восседает «вечный» студент со своими слушателями, появляется бутылъ самогона. Компания расшумелась пуще прежнего. Опорожнив бутылъ больше чем наполовину, «свободная интеллигенция» затягивает песню собственного сочинения. Хриплыми пьяными голосами они орут вразнобой:

...Я не гос, я не хоз, я не член союза...

Вставят сзади мне перо — вылечу из вуза!..

Краснолицый снова порывается произнести речь, но более благоразумные приятели удерживают его.

— А я не боюсь! — кричит краснолицый с места. — Никто не имеет права затыкать мне рот. Плевать я хотел на ЧК!

Внезапно кто-то тронул Веру Петровну за руку. Она оглянулась: рядом стоял Сименовский, приват-доцент университета, высокий, худой и невероятно близорукий человек. Она знала его давно. Задолго до Февральской революции, будучи еще студентом, Сименовский причислял себя к марксистам и жертвовал на Красный крест. После февраля он во всеуслышание объявил себя меньшевиком, но и кое с кем из большевиков поддерживал отношения. Всерьез его не принимали ни те, ни другие.

Когда в декабре 1917 года пленум губернского Совета принял решение закрыть «за клевету, ложь и извращенную информацию» некоторые местные газеты, в том числе и меньшевистскую, Сименовский в знак протеста предложил городскому комитету меньшевиков свои услуги в качестве редактора уже несуществующей газеты. Он даже убеждал перепуганных меньшевиков, что чуть ли не перешел на нелегальное положение, что уже приобрел себе фальшивые бороду и усы.

Увидев приват-доцента, Вера Петровна недовольно поморщилась:

— Что вам угодно? — спросила она, почти не глядя на

Сименовского и продолжая пристально следить за входной дверью.

— Пардон, милейшая Вера Петровна, но у меня к вам деловой разговор.

— Говорите! — сухо ответила Вера Петровна, готовясь выслушать порцию нудных излияний мятущегося интеллигентика, оскорбленного «диктаторскими», замашками большевиков.

— Слушайте внимательно. Это крайне необходимо и важно, — Сименовский говорил скороговоркой, озираясь по сторонам и явно волнуясь. — Умоляю вас, умоляю, отнеситесь к моему сообщению серьезно!

— Нельзя ли без предисловий? Ближе к делу! — все так же сухо перебила его путаную речь Вера Петровна.

— Терпение! Я все расскажу. Собственно говоря, я пришел к вам по старому знакомству, даже по дружбе. *Bis dat cito dat*^[2]. Я вас искал. Ей-богу, вы, большевики, в конечном счете неплохие ребята. Мне будет искренне жаль, если вас перевешают на фонарях. — Сименовский снял пенсне и, близоруко щурясь, заглянул в глаза Веры Петровны. — Это должно произойти буквально на днях. Не исключено даже, что послезавтра. *Dixi et animam meam levavi*^[3].

Мгновенно сопоставив в уме сообщение Сименовского с тем, что уже носилось в воздухе, о чем говорили товарищи, Вера Петровна поняла, что Сименовский не выдумывает. Сердце тревожно екнуло, но выражение ее лица оставалось невозмутимым.

— А не кажется ли вам, господин приват-доцент, что вас наяву преследуют кошмары?

— *Mon dieu!*^[4] Вера Петровна! Я не шучу, и тон ваш неуместен! — обиделся Сименовский. — В городе готовится восстание. *Parole d'honneur*^[5]. Крупное восстание. Мне говорил об этом один из руководителей. И люди у них опытные, военные специалисты, офицеры. Вам надо бежать!

Сименовский говорил быстро, захлебываясь, хриплым шепотом. Правая щека у него нервно подергивалась. Все это заставило Веру Петровну поверить в искренность его слов. «Не врет!» — подумала она.

— От кого же вы все это слышали? Кто этот руководитель? — в упор спросила Вера Петровна, поворачиваясь к Сименовскому всем корпусом.

— Меня сюда привела не обязанность отчитываться перед вами, — возмутился Сименовский. — Рассказать об этом меня побудила совесть порядочного человека. Я изложил вам все, что

считал нужным, но быть доносчиком?.. Указывать имя человека, который мне доверился?.. Слуга покорный!.. Увольте, милейшая, увольте! Я вас, а через вас, надеюсь, и ваших коллег предупредил. Остальное — дело ваше. И еще раз позволю себе повторить совет: бегите, скрывайтесь, пока есть время, пока есть шансы на спасение. Кровопролитие мне противно, потому я и пришел. Только потому...

Пока Сименовский говорил, Вера Петровна лихорадочно думала. Как быть дальше? Что предпринять? Никого добром он не назовет: знаю я «их благородство», этих интеллигентов. Как же заставить его говорить? Сыграть на самолюбии? Оскорбить, чтобы он, отстаивая свою честь, заговорил? А ждать нельзя, нельзя ни минуты!

Едва Сименовский кончил, как Вера Петровна, гордо вскинув голову, произнесла, щурясь, с подчеркнутым пренебрежением:

— Однако, ловко же у вас получается! Решили, что называется, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Дай, мол, на всякий случай предупрежу большевиков: чем черт не шутит? А вдруг они победят? В то же время и заговорщики не в ущербе — общими фразами о восстании никого и ничего не выдам! Так, что ли?

Сименовский оскорбленно передернул плечами, нахмурился и молча отошел в сторону. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы ответить женщине грубостью.

«Пожалуй, перегнула», — подумала Вера Петровна. — Как бы этот хлюпик не пожалел о своей откровенности. А то еще, чего доброго, побежит к своим офицерам каяться. Хоть бы уж скорее пришел Олькеницкий. Вместе мы быстрее сообразили бы, что делать.

И тут наконец-то в дверях показался Олькеницкий. Он шел с военкомом города Милхом.

Гирш был одет как обычно: защитная гимнастерка и широкие синие бриджи. Костюм сидел на нем плохо, и он казался в нем очень неуклюжим. Вера про себя мгновенно отметила, что выглядит он очень плохо. На лице Олькеницкого лежала печать крайнего утомления, но глаза его смотрели зорко, твердо, как обычно. Под этим пристальным дружеским взглядом тревога улетучилась.

«Как постарел Гирш», — подумала Вера Петровна. На память пришла первая встреча с ним.

Был конец 1916 года. Олькеницкий появился в Казани на год раньше, как беженец из Польши. В университете, куда поступил Гирш, он сразу выделился большевистской страстностью и принципиальностью.

Вере живо представилось их первое знакомство и то, как убедительно раскритиковал Олькеницкий программу партии левых эсеров максималистов-интернационалистов, к которым Вера Петровна примкнула в марте 1917 г.

«Тоже мне платформа, — иронизировал Олькеницкий. — Никакого понимания обстановки сегодняшнего и вчерашнего дня, не политическая линия, а смесь сентиментальности и романтики с припадками бунтарства».

«А ведь Гирш прав, — подумала тогда Вера Петровна, — абсолютно прав». Именно он помог ей понять, куда вела линия эсеров, в рядах которых она вдруг оказалась.

В последнее время Вера Петровна часто задумывалась над этим вопросом. Она упорно искала объяснения своему поступку: Вера понимала, что произошла нелепость, абсурд. Но почему? Что это было? Внезапный порыв, толкающий людей на бездумные, ничем не оправданные поступки? Или что-то другое? Может быть, сказались заложенные в ней с детства элементы бунтарства?

Когда она попыталась в разговоре с Гиршем свалить все на бездумность, он оборвал ее: «Молчи, молчи лучше. Ты склонна к бунтарству. Это и привело тебя к эсерам».

Гирш давно понял, куда ведет левых эсеров их политическая линия. Он сразу раскусил их псевдореволюционную сущность и то, что под громкой, левой фразеологией они скрывают свое истинное контрреволюционное нутро.

«Громыхаете, как пустые бочки по мостовой», — удачно съязвил как-то Олькеницкий во время выступления против кого-то из левых эсеров на заседании губревкома.

Внутренне Вера была удовлетворена тем, что по вопросу о Брестском мире она шла в ногу с большевиками против эсеровского большинства. Она уже давно идеологически порвала с эсерами. Надо было кончать и организационно, но Гирш советовал:

— Ты прежде уведи из-под эсеровского влияния тех, кто так же, как ты, случайно очутился в их лагере.

Вера активно принялась за разложение левоэсеровской организации. Она ждет не дождется, когда газета «Знамя революции» опубликует наконец декларацию об идеологическом и организационном разрыве с эсерами^[6].

Все это вспомнила сейчас Вера, когда увидела Гирша.

Быстро встав из-за стола, Вера Петровна шагнула к Олькеницкому и Милху, решительно взяла их под руки и повернула назад, к выходу из столовой. Они с недоумением глянули на нее, но подчинились.

Выйдя на улицу и убедившись, что никого поблизости нет,

Вера Петровна лаконично, но очень связно передала Олькеницкому и Милху все, что рассказал ей Сименовский.

Гирш внимательно выслушал ее, и глубокая поперечная складка легла на его лбу. Он молча думал.

— Может, арестовать Сименовского? — прервал молчание Милх.

Олькеницкий отрицательно покачал головой:

— За что? За то, что он пришел и предупредил нас? Так нельзя! Вот допросить его как следует, пожалуй, необходимо. А как Дмитрий? От него нет ничего нового? Как бы он не перепутал «свою биографию».

— Все до мелочи продумано и учтено. Надеюсь, что он сойдет за сынка пострадавшего от большевиков. Связь с золотопогонниками у него устанавливается. Вот-вот будут новости. Дмитрий проникнет в их логово обязательно, я уверена.

— Ну ладно. Пока займись Сименовским.

Вера Петровна тут же вернулась в столовую и предложила Сименовскому пойти вместе с ней на Воскресенскую улицу, где в здании бывшего окружного суда помещалась губернская чрезвычайная комиссия.

Сименовский был так напуган этим предложением, что и не подумал отказываться. Впрочем, если бы он и попытался отказаться, то находившиеся поблизости Олькеницкий и Милх помогли бы доставить его куда надо без промедления.

Придя в губчека, Вера Петровна провела Сименовского в большую полутемную комнату, единственным освещением которой служило несколько самодельных лампадок. Электричества в городе не было.

В комнате стояли письменный стол и несколько стульев. Другой мебели не было.

— Садитесь! — сказала Вера Петровна и пододвинула Сименовскому один из стульев.

— Почему вы меня арестовали? — дрожащим от обиды шепотом спросил приват-доцент. — Это... это бесчеловечно.

— Арестовала? Вас? Вы глубоко заблуждаетесь. Пока мы вас не арестовываем, и не моя вина, что нам приходится продолжать беседу здесь, в чека. Но согласитесь, вы рассказали столь серьезные вещи, что никакие недомолвки, недоговоренности недопустимы. Итак, от кого вы узнали о заговоре? Учтите, на сей раз я вас спрашиваю официально, и вам придется отвечать.

— Не могу! — чуть не вскричал Сименовский, хватаясь за голову. — Не могу, я не хочу быть чьим-то убийцей! Я не предатель, не провокатор!

Сименовский замолчал. С минуту он сидел, низко опустив

голову. Затем выпрямился и, по-видимому убедившись, что его трагические возгласы произвели мало впечатления, окончательно сник.

Вера Петровна понимала, что в душе Сименовского идет мучительная борьба, и терпеливо, молча ждала. Действительно, Сименовский считал, что если он назовет имя человека, от которого узнал о заговоре, то будет предателем, а стать предателем он не хотел. Но, с другой стороны, он испытывал такой невероятный страх перед грозной чека, что готов был выложить все, что знал. Как же быть? Что делать? Желая найти какой-то компромисс, Сименовский неуверенно проговорил:

— Видите ли, собственно говоря, узнал я о заговоре случайно. Мне рассказал мой старинный друг, так сказать, однокашник по университету...

Так! Вере Петровне стало ясно, что Сименовский принял какое-то решение. По-видимому, он что-то скажет, попытается отделаться полупризнанием, будет говорить полуправду. Надо заставить его выложить все до конца. Для этого надо наступать, только наступать, как советовал Гирш, не давая Сименовскому передышки.

И, приняв это решение, она обрушила на Сименовского град вопросов:

— Он ваш друг по университету? Вы познакомились с ним в студенческие годы, на университетской скамье? Не раньше? Отвечайте точно!

— Нет, почему в студенческие? Мы вместе кончали гимназию.

— Отлично! Значит, он коренной житель этого города? Может, здешний уроженец?

— Нет... впрочем, да... Кажется, да.

— Так как же? Да? Или нет? Только точно.

— Я же говорю — да! Он здесь родился.

— В какой семье?

— Ну, отец его был священником.

— Чем он сейчас занимается?

— Право, ничем. Только что вернулся в город, офицер. Весьма милый и культурный человек.

— Где вы с ним встретились?

— На улице, совершенно случайно. Он живет недалеко от меня.

— Фамилия?

— Чья фамилия?

— Его, конечно, не ваша же.

— Увольте, Вера Петровна! Фамилии я не назову.

Сименовский судорожным жестом ухватил мешочек с махоркой, который лежал на столе, и попытался свернуть козью ножку. Но ничего не получилось. Руки дрожали, табак рассыпался.

— Что, — усмехнулась Вера Петровна, — запачкаться боитесь? «Ах, мол, как можно, неэтично!»

— Да, да. Товарищ доверился другу, поведал ему сугубо секретные вещи, а тот возьми и предай его. Как это называется, по-вашему? И, кроме того... — приват-доцент замялся, — вы ведь арестуете его. А я не хочу быть виновником гибели человека, любого человека. Я принципиальный противник насилия и репрессий. — Голос Сименовского стал крикливым. — Ведь речь идет о психологических нюансах, которых вы, большевики, не поймете, не сумеете понять, — подчеркнул он снова.

— Ну где уж нам! — Вера Петровна пожала плечами, и в ее глазах появились веселые смешинки.

Заканчивая допрос, она твердо решила временно держать Сименовского под домашним арестом. Иначе он может проболтаться. Но как узнать фамилию попovichа, о встрече с которым говорил приват-доцент.

В городе, как она успела выяснить полчаса спустя, оказалось ни много ни мало — девять поповских сыновей офицерского звания, к тому же бывших студентов. Четверо из них жили по соседству с Сименовским.

Кто же из них враг? Насколько сильна организация заговорщиков? Связана ли она с центром?

Этот губернский город, расположенный в глубоком тылу России, в годы войны превратился в фабрику офицерства для царской армии.

В Казани дислоцировались военные училища, стояли запасные полки, формировались резервные части.

Сюда после Октябрьского переворота бежали из Петрограда некоторые представители черносотенной головки.

Вся эта публика была хорошими дрожжами для контрреволюционных заговоров любых направлений.

По городу раскинулась целая сеть закусочных, кафе, ресторанов, молочных лавок, лавочек, организованных так называемым союзом безработных офицеров, где за прилавками стояли чересчур бойкие приказчики с нагловатыми глазами из бывших офицеров и их жен.

Союз безработных офицеров был для золотопогонников хорошей ширмой. Особенно был подозрителен район 3-й Горы, где преимущественно сосредоточивались офицеры. Здесь почти открыто производилась запись добровольцев на Дон.

Вечерами тут часто раздавалась стрельба. Стоило только человеку, попроще одетому, заглянуть во вновь открытое увеселительное заведение, как он сразу наталкивался на стену отчужденности: замолкали разговоры завсегдатаев заведения, наступала неловкая тишина, а вслед случайному посетителю неслись шепотки, иронические реплики, издевательские улыбочки.

Опустив голову, Вера Петровна долго сидела за столом и перебирала в памяти события последних дней, когда неожиданно в комнату вошли Олькеницкий и секретарь чека Фролов.

— Устала? — тихо спросил Гирш Веру Петровну.

— Устала. Из этого чудака почти ничего не удалось вытянуть.

Вера Петровна коротко передала результат допроса.

— Да-а, немного, — Олькеницкий потер лоб. — А петля между тем затягивается. Особенно меня беспокоит охрана города. Сегодня я проверял списки — сплошная черная сотня. Это черт знает что. Подумайте только: кто сторож магазина на углу Чернозерской? Господин жандармский ротмистр. А все оттого, что охрану набирают через домовые комитеты.

— Нужно отменить старое постановление, пока не поздно, — сказала Вера Петровна.

— Отменим, за этим дело не станет. Теперь другое: что делать с «итальянкой»^[7] господ чиновников? Они пока ведь и не думают работать.

— Это потому, что у них есть средства, — вмешался Фролов. — До тех пор пока буржуазия будет субсидировать саботажников деньгами, мы бессильны.

— Что же вы предлагаете?

— Отобратить у буржуазии средства и заставить работать!

— Рискованный шаг, но иного выхода нет, — согласился Олькеницкий. — Твое мнение, Вера Петровна?

— Гирш, вы когда-нибудь пахали землю?

Вопрос был настолько неожиданным, что Олькеницкий приоткрыл рот.

— Землю пахать? Но при чем тут пашня?

— Видите ли, Гирш, — продолжала Вера Петровна, — лошадь любит, чтобы плуг держала крепкая рука, И буржуазия любит власть, у которой крепкая рука. Я думаю, что мы должны пустить в ход сильно действующие отрезвляющие средства и привести буржуев в чувство. Если мы заставим их чистить улицы и сортиры, а их жен — мыть красноармейцам казармы — честь, впрочем, для них немалая, — то они поймут, что власть у нас твердая...

Гости стали сходиться поздно, в десятом часу. Встречал их сам хозяин, отец Александр, высокий, сухой, с благообразным красивым лицом. Мягкая седая борода и венчик из белых волос, которые шевелились при любом движении, делали священника Сердобольского похожим на древнего апостола.

Гости прикладывались к его руке и проходили в гостиную, где их ожидал накрытый стол.

Позднее других приехал веснушчатый блондин в обществе какой-то девушки и высокого молодого человека.

— А-а, Нефедов, наконец-то, — произнес старший сын хозяина, Сергей.

— Милостивые государи, подождите браниться, — начал Нефедов. — Честное слово, не моя вина. Все, все объясню. Пойдите-ка, я вам сначала представляю...

И Нефедов начал рекомендовать своих спутников:

— Моя кузина Елизавета Ивановна, прошу любить и жаловать.

— Я уже давно имел эту честь, — сухо произнес Сергей Сердобольский и поклонился.

— Мой юный друг, одаренный художник, Дмитрий... Имейте в виду — чудесный пейзажист, — повернулся он в сторону молодого человека, вошедшего с ним.

— Ну-с, дорогой хозяин, — Нефедов обращался теперь к Сергею, — чем будете поить-кормить нас?

Нефедов говорил тоном превосходства. Превосходство чувствовалось и в его манере высокомерно держаться, не обращать внимания на окружающих.

Продолжая улыбаться, Сергей Сердобольский обнял Нефедова за талию и, отводя его в сторону, злым шепотом спросил:

— За каким чертом вы тащите с собой этого типа? Вы его хорошо знаете?

— У вас очередной припадок подозрительности, — презрительно усмехнувшись, холодно возразил Нефедов.

— Ну вот что, поручик, это в последний раз. Мы и так долго терпим ваши выходки. Это — нарушение наших правил.

— Полегче, поручик, — сквозь зубы прошипел Нефедов. Его и без того маленькие глазки от злости сузились так, что стали похожи на две маленькие щелки. — Учтите, я не привык терпеть дерзости.

За ужином разговоры сначала носили довольно сдержанный характер. Но после третьей рюмки за столом стал господствовать

поручик Нефедов. У него, по-видимому, был своеобразный зуд произносить тосты.

С самого начала он предложил трогательный, состоящий из полупафосов тост за счастливый отъезд младшего сына священника, присутствующего здесь, краснощекого и голубоглазого крепыша.

Не трудно было понять, куда едет этот молодой человек, особенно после речи совсем захмелевшего Нефедова.

— Милостивые государи, — начал он, — если бы вы только знали, как я завидую этому мальчику! В то время как мы здесь вынуждены изнывать от безделья, прятаться по подвалам, торгуя молоком, этот юноша через пару дней сможет сразиться с врагом в открытом бою! Какое счастье! — Нефедов выпятил свою чахлую грудь и картинно оперся на воображаемую шашку. — Эх, черт побери! Мне бы один эскадрон моих дьяволов из «дикий дивизии», показал бы я красным...

— Как бегает зайцы, — ехидно вставил Сергей. Присутствующие рассмеялись, но Нефедов, не смутился и, будто не слыша насмешки, продолжал:

— Я показал бы им...

— Бросьте, поручик, — с тихой угрозой остановил его Сергей, — все знают, с ваших слов, наизусть, что вы были некоторое время на фронте, даже контужены и как будто ранены в голову... отличались храбростью, героизмом...

Нефедов хотел было возразить, но осекся под пристальным и недобрым взглядом Сергея, весь вид которого говорил о трудно сдерживаемом бешенстве.

— Ну хорошо, — пробормотал Нефедов, — если вы не хотите слушать, я лучше сяду и буду молчать. Только налейте мне, Христа ради, рюмочку.

Чтобы замаять возникшую неловкость, Сергей встал и снял со стены гитару. Склонив на гриф лобастую голову, он взял несколько аккордов. Струны зарокотали приглушенно и мягко. Сильные пальцы Сергея перебирали их все быстрее и быстрее. И вот уже гитара хохочет и плачет. У гостей сами собой начинают подпрыгивать под столом ноги.

Потом мелодия меняется, выравнивается и течет широкая, вольная, как река в половодье:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика...

Сергей поет, полузакрыв глаза. По лицу его пробегают тени, и высокий лоб бороздят страдальческие морщинки. Младший брат смотрит на него влюбленными глазами и тихонько подпевает:

Сколько грусти в той песне унылой,
Сколько чувства в напеве родном,
Что в груди моей холодной, остылой
Разгорелось сердце огнем...

— Знаем мы эти славянофильские штучки, — неожиданно захохотал Нефедов и с размаху поставил бокал. — Песенки русские, а карабины французские! А что французишки взамен-то потребуют? Не догадываетесь? А я догадываюсь: рублики и «родны-е поля и лес-а», как поется в вашей песенке. Так чего ради вы кривляетесь, Сергей, и пускаете слезу, распевая творения русского мужика?

— Вы же пьяны, Нефедов, — сказал Сергей. — Ступайте спать.

Поручик был действительно пьян, и гипнотизирующие взгляды Сергея на него уже не действовали. Он решил, видимо, отплатить за свое недавнее унижение и продолжал разглагольствовать:

— Пусть я пьян. Но зато я не притворяюсь, что люблю мужика и все это свинство! Я их откровенно презираю, как мыслящее существо и как дворянин!

— Напрасно, Нефедов, напрасно, — спокойно сказал Сергей и покачал головой. — Я думал, вы умнее. Дворянством теперь кичатся только дураки.

— Это почему же? — вскинулся поручик, не заметив даже, что Сергей ловко перевел разговор на менее скользкую тему.

— Если вы способны меня выслушать, я объясню. Дело в том, Нефедов, что чистотой крови не могут похвастаться даже великие князья. И вот почему: у вас было двое родителей — отец и мать. Не так ли? А у ваших отца и матери было уже четыре родителя: два у отца и два у матери. Четыре же ваших деда и бабки насчитывали восемь человек, которым они были обязаны своим появлением на свет. У ваших прадедов и прабабок было шестнадцать родителей... И так далее. За тринадцать поколений, Нефедов, вы накопили... минуточку — прикину... Так вот, вы накопили шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре предка. Какая это прогрессия?

— Арифметическая, — рассеянно пробормотал поручик, и гости опять расхохотались.

— У вас плохая память, Нефедов, — усмехнулся

Сердобольский. — Но разрешите мне продолжить. Вы уверены, что среди этих шестнадцати тысяч ваших предков не было крепостных, стрельцов, прачек, публичных девок, мещан, купцов, цыганок и кабачных ярыжек? Уверены вы в этом? Ах, не уверены! А ведь мы копнули только тринадцать поколений, всего-навсего тринадцать! Так чем же вам кичиться, любезный господин поручик? И зачем кричать о своем презрении к мужику, за счет которого вы живете?

Сердобольский встал и вплотную подошел к Нефедову:

— Отправляйтесь немедленно спать. А завтра, когда у вас будет трезвая голова, мы поговорим в другом месте.

— Но, Сергей, ведь я ничего такого...

Сердобольский, не дослушав, круто повернулся на каблуках в сторону гостей.

* * *

Незадолго до встречи с приват-доцентом Вера Петровна узнала некоторые странные вещи. Жители одного из маленьких переулков Поповой горы стали замечать таинственные огни в бывшем купеческом особняке, давно брошенном хозяевами. Появлялись они изредка, и всегда по ночам, как правило в верхнем этаже. По переулку поползли слухи о привидениях. Милиции, попытавшейся было разобраться в этом загадочном явлении, ничего узнать не удалось. Губисполком поручил чека заняться особняком.

Осмотр особняка не дал новых сведений. Однако путем обследования чекисты установили, что ночные посетители могли появляться только со стороны церковного двора, к которому он примыкал.

О том, что в особняке хозяйничают не духи, свидетельствовали окурки папирос и огарки свечей. После посещения особняка чекистами «привидения» исчезли.

Вера Петровна была разочарована «решением духов» не появляться больше в особняке.

Сейчас она снова вспомнила о заброшенном особняке: ведь он граничит с церковным двором, с поповским домом. Она интуитивно почувствовала какую-то связь между происходившими в нем явлениями и месторасположением особняка.

Нужно еще раз все проверить и выяснить фамилию попа, решила Вера Петровна. После разговора с Сименовским, посоветовавшись с Олькеницким, она отправилась на

Черногрязскую улицу.

Был тот сумеречный, послезакатный час, когда у домов ложатся дремотные тени, когда спать еще рано и обыватели ведут ленивую беседу, сидя на лавочках и перемывая косточки ближних.

Свернув в переулок, Вера Петровна пошла медленнее. Когда она почти миновала ворота бывшего купеческого особняка, ее взгляд вдруг задержался на человеке, выглядивавшем со двора. Человек, по-видимому, высматривал что-то, стараясь быть незамеченным. Его лицо и плотная длиннорукая фигура показались Вере Петровне знакомыми. Она замедлила шаги и решительно свернула во двор, не снимая опущенной в карман руки с шершавой и горячей рукоятки браунинга. Человек вздрогнул от неожиданности и весь подобрался. Но его напряженное лицо сразу же смягчилось, а зеленые кошачьи глаза расширились от удивления. Сделав шаг вперед, он неуверенно спросил:

— Вера?

Теперь и Вера Петровна узнала его. В голове мелькнуло воспоминание: бидон с керосином, который передает ей этот человек, горящее дядюшкино имение и...

А потом... Архангельская пересыльная тюрьма. Широкий двор и готовый к отправке этап. Правый эсер — боевик Алешка Мотков гремит кандалами и матерно ругает конвой.

Почему он здесь, в городе, во дворе этого особняка? От кого он прячется?

— Вот как довелось встретиться, — заговорил Мотков, настороженно заглядывая в глаза Веры Петровны. — Вы, кажется, местная, казанская?

— Почти казанская. А вы, Алексей, какими ветрами?

— Заездом из Галиции, с фронта. Приятель затащил: вместе в окопах вшей кормили. Он тоже казанский. Может, слышали — Сердобольский Сергей, священника сын.

«От кого же он все-таки прячется? — снова подумала Вера Петровна. — Похоже, Мотков — офицер». А вслух спросила:

— Москву проезжали?

— Был проездом.

— Как там дела?

— Картина, знаете ли, повсеместно одинакова и всюду безотрадная: разруха, голод, тиф, дороговизна.

— Да-а, — неопределенно сказала Вера Петровна. — И надолго вы к нам пожаловали?

— День-другой пробуду. А сейчас, извините, тороплюсь.

— До свидания, Алексей. Может, еще свидимся. — Вера

Петровна протянула руку.

— Конечно! Как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком...

Вернувшись в чека, Вера Петровна приказала вызвать Сименовского. А пока следовало решить: какой именно вопрос лучше прежде всего задать приват-доценту. В какую форму облечь, как преподнести этот вопрос, чтобы по выражению лица Сименовского, по его поведению определить правильность своих предположений. Рассчитывать на добровольное признание не приходилось.

Сименовский вошел и, усевшись без приглашения, низко опустил голову. Вера Петровна долго молчала. Приват-доцент беспокойно заерзал на стуле и украдкой взглянул на следователя. Перехватив его взгляд, Вера Петровна тихо, но отдельно сказала:

— Сер-до-больский.

Это слово прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Вера Петровна устремила на Сименовского пристальный взгляд.

— Да. — Скорее догадалась, чем услышала Вера Петровна. — Да, — громче повторил Сименовский и побледнел. — Это он сообщил мне о подготовке к мятежу. Как вам удалось узнать?

— Вас это совершенно не касается, — устало сказала Вера Петровна. — Во всяком случае, не благодаря вам...

Сименовский облегченно вздохнул. Не он первый назвал фамилию Сердобольского. Его спросили — он ответил правду. Не может же лгать интеллигентный человек. Его совесть должна быть чистой...

* * *

Комната с низким потолком и облупившимися стенами затемнена вечерними сумерками. Вросшее в землю окно с расколотым пополам пыльным стеклом смешно коверкает фигуры прохожих, карикатурно вытягивая их лица и туловища.

Если напрячь зрение, можно заметить, что кроме примостившейся у окна Веры Петровны в комнате находятся еще люди. На кровати хозяйка, она укачивает ребенка. Хозяин тоже дома. Он устроился рядом с женой и молчит. Иногда, как бы очнувшись, хозяин подымается и неслышными шагами выходит в сени покурить.

Вера Петровна вздрогнула и настороженно прильнула к окну. На улице показался человек... Потом еще... Еще...

Идет второй день невидимого поиска. Настойчиво следит Вера Петровна за поповским домом. Сощуренные глаза,

напряженное лицо, она — само внимание...

Снова появился человек. Который уже по счету? И все к Сердобольскому. Приходят, уходят. Точно сговорившись, появляются через равные промежутки времени. Со стороны может показаться, что походка у них беспечная, как у празднующихся.

— Кажется, поиск начинает себя оправдывать, — шепчет Вера Петровна, обращаясь к хозяину. — Вы правы, Иван Алексеевич: посетители сплошь офицеры. Это точно. Обратите только внимание на их выправку. Смотрите! — Вера Петровна тянет кого-то за рукав к окну... — Заходят по одному, выходя — оглядываются.

Тот, к кому обращается теперь Вера Петровна, не отвечает. Вероятно, он заснул.

— Фролов, Фролов, очнись наконец, вроде неудобно спать на службе. — Вера Петровна сильнее дергает его за рукав.

— Что случилось?

— Погляди-ка.

Фролов протирает глаза и тоже наклоняется к окну.

— Как ни маскируются господа золотопогонники, выправка выдает их, — заключает Вера Петровна.

* * *

Солнце давным-давно скрылось за горизонтом, а жара так и не спадает. Ночь и та не приносит прохлады. Ни одного дуновения ветерка, все будто замерло.

У крыльца Сердобольских появились трое: женщина и двое мужчин. Все в кожаных куртках. Они подходят к дверям. Наблюдательный прохожий мог бы заметить, как в это время со всех сторон к особняку цепочкой бесшумно движутся люди. У одних карабины, у других наганы. Цепь замкнута. Все заметил бы прохожий, да не любят они заглядывать в глухие переулки беспокойными ночами.

Стук в дверь... Молчание... Опять молчание... Еще удары кулака по массивной, старинной двери. В передней слышатся чьи-то шаги. Теноровый юношеский голос вопрошает:

— Кто там? Что случилось?

Женский голос:

— Умирает раб божий, Василий. Нужен священник.

Дверь нерешительно приоткрывается. Сильный толчок снаружи — и все трое уже в передней. За ними вооруженные рабочие. В коридоре темно. Кто-то пытается шмыгнуть в дверь...

Поздно... Его крепко держит мускулистая рука рабочего.

— Ах, это сам прапорщик Сердобольский! Приятно познакомиться!

Крепыш попович заикается:

— Господа... пардон... товарищи, я просто так собрался погулять... много выпил... званный вечер...

В доме много посторонних, все офицеры, и все в штатском.

— В чем дело, судари мои, — спрашивает встревоженный отец Александр. Священник не похож больше на апостола. Бледность его бросается в глаза, несмотря на полумрак. — Не понимаю — что происходит?

— По ордеру губернской чрезвычайной комиссии мы произведем у вас обыск, санкция прокурора имеется. Распишитесь, — объявляет Вера Петровна.

Священник сокрушенно качает головой.

— Господи всесильный, отпусти им неразумным, яко не ведают, что творят. — Эти слова он произносит вслух, но делает вид, что они у него случайно сорвались с уст. Постепенно выражение лица отца Александра становится недоброжелательным. — Тут какое-то недоразумение, — громко заявляет он.

— Да, пожалуй, по недоразумению рядом с крестами и иконами у вас тут чуть ли не арсенал оружия, — отвечает Вера Петровна.

В числе задержанных и поручик Нефедов. Сегодня он кажется еще более веснушчатым и совсем маленьким. Поручику явно не по себе: испуганно бегающий взгляд, подергивающееся лицо, дрожащие руки. У него, кажется, трясется все, вплоть до закрученных усов. От господского лоска, от высокомерия нет и следа. Во рту у Нефедова пересохло, ноги не повинуются, и ему приходится опираться о стенку. А в голову поручика весьма некстати лезут обрывки воспоминаний о дне, проведенном на толкучке, где он выгодно купил старинную иконку...

— Выходите в коридор, — командует Вера Петровна.

И вдруг истошный вопль прорезает установившуюся тревожную тишину поповского особняка:

— Не хочу!.. Понимаете, я не хочу!.. Вы не смеете, не имеете права так со мной... — вопит Нефедов.

— Правом-то мы располагаем. Есть санкция прокурора, а что касается законных оснований для задержания, то их, гражданин Нефедов, больше чем достаточно. Кому-кому, а вам это известно.

...Чекисты и рабочие производят обыск. Они ищут уличающие материалы. Они должны быть здесь. Оружие найдено. Но где же документы? Чекисты заглядывают в гардероб, под

кровати.

С видом гостеприимного хозяина сопровождает чекистов по дому старший сын священника — поручик Сергей Сердобольский.

В отличие от своих гостей он держится с достоинством. И только когда он пытается язвить, становится неясным: чего в этом голосе больше — сарказма или ненависти?

— Милости просим, — предупредительно открывает он двери. — Что еще прикажете, мадам следователь? — При этом Сердобольский многократно деланно кланяется.

Вера Петровна пропускает все его слова мимо ушей. Они идут по коридору: впереди Сердобольский, за ним Вера Петровна, а следом два партийца — рабочие порохового завода. Проходят одну комнату, другую...

Внезапно Сердобольский прыгает к окну. Вера Петровна бросается к нему, пытается схватить, стреляет... Сильный удар по голове. Она падает, теряет сознание...

* * *

Остаток этой ночи совсем необычен. Со всех сторон Веру обступают чудовища. Они угрожают ей хищным оскалом зубов, протягивают мохнатые, крючковатые лапы. Их глаза... бесчисленное множество глаз... так и впиваются.

Вера мечется, пьтится, отступает, подымается и снова падает. Силится вырваться, бежать... Куда? Вокруг чудовища... Чувство безнадежности, обреченности охватывает ее.

И вдруг... Она птица. Вера летит. Яркое весеннее солнце... Полет длится долго. Неожиданно все исчезает. Вера стремительно падает, голова кружится, захватывает дыхание. Ой, как страшно! А кругом кромешная тьма, ни зги, хоть глаз выколи. Вера напрягает зрение, еще... еще... Вот, кажется, она начинает различать предметы. Вера удивленно озирается: до чего знакомая обстановка. Но почему на душе так тоскливо? Отчего так больно в груди? И страшная догадка пронизывает ее: опять ярославская тюрьма, карцерная одиночка...

Вере кажется, что жизнь померкла, что наступившая тишина способна убить. Ее тянет к свету, к людям, на воздух. Но вместо людей — тюремщики, вместо света — могильный склеп. Временами чудится ей, что кто-то стонет. Вера цепенеет: «Кто здесь?» Молчание. И вдруг исступление овладевает ею: Вера колотится головой о стену — холодная. Протягивает руку к полу — лед. Что это: сон или явь? Явь или сон? Возврат к прошлому? Может, померещилось? Нет. Кто-то в жандармской

форме старается схватить ее за горло. Щемит сердце. «Не смейте, оставьте...» Холодные, липкие руки подступают, касаются.

— А...а...а! — Нечеловеческий крик.)

...Кажется, Вера Петровна приходит в себя. Непонимающие, растерянные глаза. Сзади, спереди, вокруг белые больничные койки, люди с забинтованными, бескровными лицами.

Среди них Вера Петровна. Она силится вспомнить: перед ее глазами, как вспышка, картина той зловещей ночи... Поповский особняк, переодетые офицеры... Убегающий поручик Сердобольский. Выстрел... Удар по голове и... сплошной мрак.

Ночью Вера Петровна окончательно пришла в себя. Голова была ясной и свежей. Она лежала молча с закрытыми глазами. И вдруг Вера отчетливо до мелочей вспомнила всю свою жизнь с детства...

ДОСТОЙНАЯ ЛЕГЕНДЫ

В широком и длинном коридоре на огромных окнах лениво и мягко шелестят шелковые портьеры. Оттуда, из-за портьер, изредка прорывается легкое дуновение ветерка, неся с собой свежий запах только что отшумевшего дождя.

Быстрые шаги Верочки глохнут в пушистости яркой ковровой дорожки, которой устлан пол коридора. И ей кажется, что она ступает по трясине, затянутой предательским мхом. На душе нехорошо, беспокойно. Верочка торопливо перебирает в уме свои «грехи», пытаясь угадать причину вызова к директрисе. «А может, просто какая-то ерунда? Нет, — решает она. — Скорее всего донос. Если донос, то это — дело рук мадемуазели». Классная дама семенит вразвалку рядом. Девочка бросает на мадемуазель сверкающий взгляд. Но толстуха с тройным подбородком и повадками казарменного служаки, которую институтки прозвали «капралом», шествует с самым невозмутимым видом, и на лице ее ничего не прочтешь. Она будто и не смотрит на Веру, однако видит каждое движение воспитанницы. Круглое, как луна, безбровое лицо классной дамы чем-то напоминает восточного идола. «Интересно, — некстати подумалось Вере, — все наставницы тощие, а эта... С чего бы?» Полнота, пожалуй, единственное отличие «капрала» от своих сестер по профессии. В остальном она походит на них: такая же мелочная, мстительная, желчная. Вот почему Вера так не любит ее.

«Капрал» пыхтит. Она идет быстрым шагом, почти бежит, стараясь не отстать от своей спутницы. Ей-то известна причина вызова Верочки к директрисе. Вызов этот не сулит ничего хорошего несносной девчонке, осмеливающейся публично дерзить ей.

А Верочку вдруг охватывает нестерпимое желание досадить мадемуазели. Она ничего не может с собой поделать. Ей трудно устоять против соблазна. Проходя мимо кресел, Вера нарочно с силой проводит рукой по атласной обивке. Она знает: наставница не выносит этого звука. Тем лучше. Обивка взвизгивает так противно, что старую деву передергивает.

— Булич, прекратите!

— А что я делаю, мадам? — с подчеркнутым удивлением осведомляется Верочка, особенно упирая на последнем слове.

— Не мадам, а мадемуазель. Прошу вас раз и навсегда запомнить. — Классная наставница задыхается от злости. Слова она цедит сквозь зубы.

— Я постараюсь, — улыбается воспитанница и уже совсем

озорно, по-мальчишески, хлопает по плечу бронзового рыцаря, держащего канделябры. «Капрал» пытается поймать Веру за руку, но она ловко ускользает и еще быстрее шагает вперед.

— Непозволительно дерзка. И это в четырнадцать-то лет, — с возмущением бормочет про себя мадемуазель.

Перед массивной, украшенной резьбой дверью «капрал» останавливается. Она приглаживает волосы, расправляет плечи и собирается постучать, но институтка опережает. Толкнув дверь, Верочка решительно шагнула в кабинет директрисы Родионовского института благородных девиц. Мадемуазель входит бочком, осторожно.

В кабинете светло и просторно. На полу медвежьей шкуры. С книжного шкафа на девочку с любопытством уставилось чучело любимого директрисой попугая. Директриса сидит за письменным столом, ножками которому служат искусно выточенные драконы. Верочка быстро окидывает директрису взглядом. Это сравнительно молодая дама с тонким, аристократическим лицом. Прямо над ее головой — портрет императора Николая II. Портрет так велик, что на его фоне директриса выглядит куколкой, сердитой куколкой в своем темном, строгом платье.

Чуть поодаль в удобном кресле развалился огромный, жилистый, будто собранный из пружин, архиепископ Андрей, в миру князь Ухтомский. Верочка сразу узнает его по буйной вороной гриве, падающей на широкие атлетические плечи, и изможденному, вечно хмурому лицу аскета.

Архиепископ — личность видная. В губернском обществе он играет заметную роль. Не лишенный ума, хитрый, по-европейски образованный, князь выгодно выделяется на фоне священнослужителей из семинаристов. Именитого монаха наперебой приглашают в самые избранные салоны. На сиятельных вдов и пресыщенных дам его ораторские способности, аристократические манеры, фанатически горящие глаза производят неотразимое впечатление. Злые языки поговаривают, будто не совсем равнодушна к архиепископу и директриса, будто и ее «не миновала чаша сия».

Верочка, сохраняя внешне спокойствие, делает реверанс, а сердце бьется часто, гулко. Директриса милостиво кивает и... молчит. Верочка чувствует, что у нее начинают пылать щеки, но головы не опускает, смотрит твердо и прямо. И все-таки девочка немного трусит. Ей очень хочется, чтобы все быстрее кончилось, все равно как, только быстрее, быстрее. Она мысленно корит себя за подленькую трусость и все же трусит все больше и больше. А директриса не спешит. Она медленно, спокойно складывает свое

вязанье, поглядывая на мадемуазель, которая стоит рядом с Верочкой, подобострастно уставившись на директрису, едва дыша.



Вера Булич — воспитанница института благородных девиц в Казани в 1904 году.

В томительном молчании проходит несколько минут. Наконец директриса обращается к институтке:

— Булич, почему вы отказываетесь посещать уроки закона божьего? В чем дело?

«Тон, кажется, доброжелательный, — отмечает про себя Верочка, — но можно ли ему доверять?»

— Может быть, вам не нравится отец Василий? — продолжает допытываться директриса.

Верочка нервно, похолодевшими пальцами теревит передник.

— О нет, мадам. Дело совсем не в этом.

— Так в чем же? — Соболиные брови директрисы удивленно зашевелились.

Архиепископ, не обративший вначале внимания на девочку, тоже заинтересовался. Он уселся в кресле поудобнее и уставился на воспитанницу своими горящими глазами. А Верочка не

торопится с ответом и все теребит, теребит свой передник, пытаюсь собраться с мыслями.

— Оставьте фартук в покое и потрудитесь отвечать! — резко, как удар хлыстом, бросает директриса. И голос ее звучит теперь совсем не доброжелательно.

— Пардон, мадам, — неожиданно вмешивается «капрал», — я хочу... я должна рассказать о Булич ужасные вещи. Просто ужасные!

Директриса окидывает мадемуазель таким взглядом, что та вся съеживается и замолкает.

— Булич, — звучит властный голос директрисы, — потрудитесь-ка сами объяснить свое поведение.

А что Вере сказать? Правду? Нельзя! Скандал неминуем. Представиться глупенькой? Но это унижительно. Солгать? Нет! Лгать она не умеет и не будет. Зачем выкручиваться, хитрить, когда Верочка убеждена в своей правоте. Уж лучше молчать. «Больно упрямая», — говорит о ней няня. Ну и пусть.

Директриса начинает злиться:

— Ну как? Вы долго намерены молчать?

Но Верочка продолжает молчать.

Директриса громко постукивает каблучком, будто отсчитывает секунды. Тогда вновь вмешивается мадемуазель:

— О, мадам, разрешите, простите. Ведь это — негодница. Она — безбожница. Она потеряла всякий стыд. Только и знает, что смущать ангельские души наших девочек. Представьте себе: Библию (голос наставницы начинает дрожать, преисполняется ужасом и благоговением), Библию называет сказкой...

Директриса поражена и возмущена.

— Булич, это правда?

Но что это? Институтка, похоже, не испытывает никакого смущения. Больше того: она и волноваться перестала и даже свой передник оставила в покое. Да, да. Факт. Булич смотрит на директрису прямо, в упор. В ее взгляде решимость.

— Да, правда! — произносит она полупшепотом, но твердо и уверенно.

— Позор! — Голос директрисы поднимается до самых высоких нот. — Вы... Вы дочь дворянина, русского дворянина — и такие слова! Пьяный мужик не позволит себе ничего подобного. Вы безнравственная дрянь, которой не место среди воспитанных людей, в приличном обществе.

Кровь бросается Верочке в лицо. Как ей хочется стать большой, сильной. Вот подойти бы и стукнуть кулаком по столу... Посмотреть, как побелеет от ужаса эта противная, кривляющаяся куколка. Но разве в состоянии она это сделать? И от сознания

собственного бессилия у девочки на глаза навертываются слезы.

Архиепископ, до этого молча наблюдавший разворачивающуюся у него перед глазами сцену, решает вмешаться. Он давно отбросил книгу, которую небрежно листал, и внимательно рассматривает Верочку. Он видит, что девочка совсем не похожа на большинство институток: томных, застенчивых. Выражение ее миловидного лица свидетельствует о воле, о твердом характере. «Нужно поскорее найти путь к сердцу заблудшей овцы», — думает про себя архиепископ. На его лице выражение участия, он доброжелательно улыбается, глядя на Веру.

— Дитя мое, ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? — Архиепископ поднимается с кресла, подходит к Вере и кладет ей на голову свою большую, пахнущую чем-то пряным руку. Ласковым голосом он говорит о душе, о любви к богу, о возмездии, которое постигает богоотступников.

Красноречие монаха, казалось, могло бы потрясти любого, но Верочку оно не трогает. Она продолжает молчать. А архиепископ распаляется все больше и больше, переходя к угрозам. Он намекает на неприятности, которые могут коснуться ее родителей, этих верных детей святой церкви.

«Верные дети церкви». Знал бы монах, что эти «дети святой церкви» в бога не верят. Вера отчетливо представляет себе, как изменилось бы выражение лица архиепископа, узнай он вдруг такое! Потеха! И она невольно улыбается.

— Веселишься, деточка. Рано! Все это совсем не смешно, и я не шучу. Ты сама не знаешь, что тебя ждет, если не покаешься. Только покаянием ты снимешь с души своей грех. Назови нечестивца, внушившего тебе пагубные мысли, и грех твой простится.

Но все напрасно. Вера упорно молчит.

— Ты что, не слышишь меня? — На смуглом красивом лице архиепископа проступают яркие пятна, но он сдерживается и, обращаясь к директрисе, спокойно говорит:

— Мария Львовна, это не простое упрямство. Не кажется ли вам, что это гораздо серьезнее?

— Это... Это... — директриса умолкает. Она не находит слов, чтобы выразить свое возмущение. — Святой отец, что же вы посоветуете? — произносит она наконец и растерянно, по-птичьи поднимает головку.

— Дать вам совет? — взрывается архиепископ. — Какой тут может быть совет?! Паршивую овцу из стада вон. Волчий билет ей, вот и все. Иного она не заслуживает.

Вера стоит бледная, плотно сжав губы. Ее душит обида,

злость. Она боится одного — как бы не расплакаться, не унижить себя перед этими... этими... «Не дождетесь, — думает Вера. — Не заплачу, назло вам не заплачу».

Теперь она знает истинную цену этим людям. Знает, что они жестокие, злые и все это прикрывают именем господа бога. Вера бросает на архиепископа пристальный взгляд, будто старается запомнить выражение его лица, поднимает голову, поворачивается и, не спрашивая разрешения, стремительно идет к двери. Мгновение — и дверь за ней с грохотом захлопывается.

* * *

Верочка медленно бредет по городу. Нужно собраться с мыслями, подумать, как объяснить случившееся дома. Это не так уж просто. А она, признаться, терпеть не может всякие объяснения: от них только голова болит. Но деться некуда. Все равно предстоит пережить несколько неприятных дней. Только ли несколько? Надо запастись терпением, ничего не поделаешь.

А жизнь идет своим чередом, будто ничего и не произошло. По мостовой проносятся кареты, извозчицьи пролетки. Прохожие толкаются, спешат. У каждого свои заботы, и никому нет дела до Верочки. Никому не придет в голову остановить ее, расспросить, что с ней, что за беда стряслась. А так хочется доброго, участливого слова. Она чувствует себя такой заброшенной, такой одинокой в этом огромном мире.

Зажглись фонари. Желтоватые отсветы пляшут на рябых от дождя лужах. Уютно светятся окна, и кажется, что за ними тепло и покой. Но это только кажется. А что там, за этими окнами, на самом деле? Кто знает?

Верочка останавливается и долго, пристально смотрит на одно из окон. Но разглядеть ничего не может. Она так задумалась, что даже вздрогнула, услышав над самым ухом сильный бас:

— Эй, барышня, садись. Прокачу!

Извозчик. Вера и не заметила, как он вывернул из-за угла.

— Прокатите? — спрашивает она. — А куда?

— Куды скажешь, туды и покатим.

— Нет, спасибо, — говорит Верочка.

Она снова идет одна по улицам, и мысли ее опять и опять возвращаются к дому. Живет Вера с папой, мамой, сестрой и няней. Дом у них с мезонином, шестикомнатный. Улица, где они живут, тихая, спокойная. Редко когда появится посторонний.

Да, дом, улица, тишина... А вот в институте сегодня тишины

и в помине не было. Институт! События минувшего утра вытесняют из головы мысли о доме.

Правильно ли она поступила? Да, правильно. Иначе было нельзя. Хоть и получилось все отвратительно. Исключили. Отказалась им отвечать, не стала лгать — и исключили. Да еще с волчьим билетом. А впрочем, чего печалиться? Надоело! Надоели вечные сплетни, наушничанье, бесконечные разговоры о кавалерах, о балах. Ох уж эти балы! Верочка усмехается. На прошлой неделе только и разговору было, что о бале у предводителя дворянства князя Баратынского. Все пялили глаза на побывавшую там счастливицу. А та и радехонька. Готова двадцать раз на дню пересказывать подробности: кто как был одет, кого пригласили, а кого обошли, кто сколько раз с кем танцевал и уж конечно кого удостоил князь приглашением на первый тур вальса.

Верочка так и не обзавелась в институте подругами, так о ком и о чем ей жалеть? Уж не о том ли, что она будет лишена «счастья» постоянно лицезреть постную физиономию «капрала»? При мысли о мадемуазели ее даже передергивает. Ну и дрянь! Какая все-таки дрянь! Вот уж кто, конечно, счастлив, что исключили. Добилась своего!

— Ну и радуйся на здоровье! — Заметив, что говорит вслух, Верочка оглянулась. Никого нет. И где она? Куда забрела? Все вокруг незнакомо: улица, дома. Она никогда здесь раньше не бывала. Кажется, заблудилась. Верочка повернула назад, ускорила шаги. Долго еще пришлось ей плутать по уснувшему городу, пока она не выбралась в знакомые места, не нашла свой дом.

* * *

Утром Верочка долго лежит в постели и думает, кто же виноват во всей этой истории. «Пожалуй, родители. В церковь нас, своих детей, они не водили, — девочка погибает палец и вздыхает, — икон в доме не держат. А что говорится при детях о попах и монахах? Ужас! Чему же удивляться? И все же разговор предстоит не из приятных».

Вера собирается встать, сбрасывает одеяло, садится на край кровати. Но что это? Пол вдруг качнулся у нее под ногами, стены помчались в каком-то бешеном хороводе, и она потеряла сознание.

...Очнулась Верочка в своей комнате в мезонине. В распахнутые окна ломаются снопы солнечного света. Из

палисадника тянет горьковатым настоем цветущей черемухи, ее лепестки залетают в комнату и плавно опускаются на пол, легкие, белые, как бабочки-капустницы.

Что же с ней было? Болела? Сколько прошло времени с того злосчастного дня, когда все случилось? День, два?

Из смежной комнаты доносится голос отца. По-видимому, он что-то читает. Вера разбирает слова: «...из института благородных девиц исключена дочь дворянина Булича Петра Вера за антиправительственные и антирелигиозные суждения...»

«Что это? — думает она. — Откуда?»

А отец с возмущением продолжает: «Поистине у страха глаза велики. Подумать только, непосещение церкви и уроков закона божьего преподносят как подрыв основ империи».

— Общество шокировано, — негромко отзывается мать, и в голосе ее звучит тревога. — Господа Саянские и те перестали раскланиваться.

— Невелика потеря: обойдемся без Саянских.

— Ах, Петр, да пойми же ты: это и на твоей судьбе может отразиться, на всех нас. Нет, нет. Вера должна пойти и просить прощения.

— Калечить ребенка! Учить девочку идти против совести? Нет! Это невозможно.

— А ты знаешь, что бывает за антиправительственные суждения? — возражает мать.

«Сейчас мама заплачет», — думает Вера.

— Ах, Александра Николаевна, Александра Николаевна! Не в деда вы пошли. Нет, нет, не в деда^[8].

Родители замолчали. Вера уже знает, что сейчас они оба смотрят на портрет ее прадеда — великого русского философа и правдолюбца Петра Яковлевича Чаадаева.

Проходит минута, другая, и мать уныло говорит:

— Но ее не примут ни в одно казенное заведение. Она должна извиниться, должна!

— Примут или не примут — дело не в этом, — резко возражает отец. — Дело в чести, в порядочности, и я решительно против того, чтобы девочка поступалась своими убеждениями, каковые, кстати, я одобряю.

Петр Николаевич уходит, хлопнув дверью.

«Милый, добрый папа! — шепчет Вера, и сердце ее переполняется гордостью за отца. — Иначе ты не мог сказать. Спасибо тебе, хороший мой».

С замиранием сердца ожидает Верочка неизбежного объяснения с матерью. Но время идет, а Александра Николаевна так и не затрагивает щепетильной темы. По-видимому,

затянувшееся выздоровление дочери препятствует разговору. А быть может, мать не решается идти наперекор отцу? Но вот однажды, когда Верочка меньше всего ожидала этого, в комнату неслышными шагами вошла мать. Наклонившись, она прикасается губами ко лбу дочери. Дочь притворяется спящей.

— Верочка.

Вера неохотно поднимает ресницы.

— Доченька, разве мы не заслужили твоего доверия? — начинает мать издали.

— Кто это «мы» и о каком доверии идет речь? — притворяется девочка непонимающей.

— Я и твой отец. Мы хотим, чтобы ты пошла к Марии Львовне и попросила прощения.

Вера молчит.

— Разве мы не хотим тебе добра? Послушай нас.

Верочка решает говорить напрямик.

— Но отец, я слышала, не разделяет твою точку зрения.

— Ах, господи, Верочка, — мать часто моргает глазами — отец ровным счетом ничего не понимает. Он такой непрактичный.

— А ты практичная?

— Вера!!!

Дочь морщится и отворачивается к стене.

— Судомойкой, вот кем ты будешь.

— Ну и буду.

— С твоим характером тебе плохо придется.

Верочка укоризненно оглядывается на мать. Широкое, немного скуластое лицо матери такое несчастное, а глаза такие добрые, что Вера едва не заревела от жалости.

— Мама, ты не расстраивайся. Я буду учиться сама, но к ним я не пойду: одна «капрал» чего стоит. Говорит, что замуж не пошла потому, что душой и телом принадлежит одному господу богу. Врет она. Просто к ней никто не сватался. Оно и понятно: увидев ее, зайкой останешься.

— Замолчи, — строго перебивает мать, — научись уважать старших.

— А если они глупые, злые, плохие?

— Не тебе судить.

Вера берет мать за руку, заглядывает ей в глаза:

— Мамочка, честное слово, назло им получу образование. Докажу, что на их институте свет клином не сошелся. Ты веришь мне? Посмотришь, я им еще покажу!

Наступил долгожданный день: Вере наконец разрешили встать. Однако настроение от этого не стало лучше. Что-то новое, совсем недетское прочно вошло в ее жизнь и не дает ей покоя. Вдруг без всякой причины она начинает тосковать по деревушке, где провела детство. Порой у нее возникает почти физическая потребность увидеть эту деревушку, увидеть ее такой, какой она бывала весной на утренней зорьке, когда небо голубое-голубое и бездонное, а воздух прохладен и чист.

Иногда Верочку охватывает какое-то мучительно тревожное чувство бесперспективности. Постепенно, медленно в эти мысли начинают вплетаться какие-то смутные надежды. Они неизменно связываются с ее настойчивым желанием поступить в гимназию. Поступить во что бы то ни стало, наперекор архиепископу, назло директрисе, мадемуазели.

И вот Вера в женской частной Котовской гимназии^[9]. Буквально все здесь для нее ново, необычно. Так все непохоже на институт.

На окружающих Вера смотрит с восторгом. Гимназистки толпятся, группами, взявшись под руки, расхаживают по актовому залу. Громко болтают, смеются. Гимназия гудит, словно улей. Но Верочка в этой непривычно жизнерадостной шумной толпе чувствует себя одинокой, хотя ее имя здесь произносится с почтением. Вокруг Веры ореол героини, пострадавшей за идеи.

Но вот это и мешает ей быть как все, мешает сближению с одноклассницами. Тревожат и оскорбляют пристальные взгляды, которыми ее провожают гимназистки. А разговоры, разговоры полушепотом за ее спиной. До Верочки долетают обрывки фраз:

— Дворянка... исключена из института благородных девиц.

— Говорят, атеистка...

— ...Против правительства выступала, я знаю, сама в газете читала...

— А по виду ничего, скромная.

Оттого что ее считают существом чуть ли не высшего порядка, Веру коробит. «Нужно быть незаметной, не привлекать внимания», — думает она.

Но и это не помогает. Наоборот, интерес гимназисток к молчаливой, замкнутой новенькой только возрастает.

Однако время идет, и интерес соучениц к юной бунтарке постепенно проходит. Теперь только старшеклассницы продолжают попытки завести с Верой знакомство. Но Вера избегает знакомств.

Жизнь, кажется, начинала входить в нормальную колею, как вдруг на большой перемене к Верочке подошла ученица выпускного класса — невысокая девушка со строгим и серьезным

лицом.

— Меня зовут Маша, фамилия Мясникова^[10], — непринужденно представилась она.

Вера с удивлением посмотрела на подошедшую, пожала плечами, но имя свое тоже назвала. Неудобно иначе.

— Знаю, что Вера и что фамилия Булич. Поэтому и подошла. Разговор у меня серьезный. Так вот: я хочу пригласить тебя в политический кружок. Нелегальный. — Последние слова Маша произнесла шепотом, пристально глядя Вере в глаза.

Верочка почувствовала, что щеки у нее пунцовеют, а Маша продолжала:

— В кружке ты узнаешь правду о жизни. Мы знаем, почему тебя выгнали из института: ты была против правительства. Вот поэтому зовем к нам.

«Что это — сон?» — думает Вера. Она ничего не понимает. В голове настойчиво бьется одна мысль: «Я против правительства?»

«Да так ли это? Что это означает?» А Мясникова не уходит. Она ждет ответа и прямо, настойчиво смотрит Вере в глаза. Веру охватывает стыд: «Да ведь Маша подумает, наверняка подумает, что я просто трусиха».

— Хорошо, — говорит Верочка поспешно, — хорошо. Я приду, непременно приду.

— Тогда постарайся запомнить, — Мясникова улыбается, словно говорит о веселом пустяке. Она называет адрес: — ... Спросишь Григория.

Верочка кивает, пытаясь дышать ровнее и сдержать сумасшедший стук сердца.

Весь день она не находит себе места, все валится из рук. Она не может думать ни о чем, кроме предстоящего посещения кружка. Дома даже отец, обычно рассеянный и ничего не замечающий, обращает внимание:

— Что с тобой, доченька?

Вера досадливо бормочет что-то себе под нос вроде: «Тебе показалось».

Поздно вечером, когда из палисадника уже потянуло сыростью и холодком, Вера незаметно выскользнула из дому. Повторяя в уме адрес, она почти бежала по улице.

Вот и нужный дом. По каменной лестнице Вера торопливо поднимается на третий этаж. Несколько минут она стоит выжидая, прежде чем позвонить. Дверь открывает высокий худой парень в сатиновой косоворотке, подпоясанный шелковым шнурком с кисточками на конце.

— Мне Григория.

— Я Григорий, проходите.

В комнате, где она очутилась, оказались знакомые гимназистки. Это сразу успокоило ее. Вера тихонько садится в угол и прислушивается к разговорам. Рядом ожесточенно спорят двое молодых людей, один похож на поэта времен французской революции. Он тычет товарища кулаком в плечо и кричит:

— Да пойми же ты, голова садовая! Анархия — это и есть настоящая свобода. Свобода без всяких оговорок! Вы просто не понимаете ее сути. Вам за ней чудится только беспорядок.

— Мели, Емеля, — улыбается парень, открывший Верочке дверь. — Анархия — по-гречески безвластие.

— Ну, тебя, Григорий, не переспоришь, — махнул рукой приверженец анархии. — Ты ведь все талмуды перечитал.

Верочка только вертит головой, не понимая почти ни слова из того, что здесь говорят. Она успела заметить, что Григория все слушают внимательно. Может быть, потому, что он рассуждает меньше других.

Приглядываясь к нему, Вера мучительно старается вспомнить, где она видела этого молодого человека. В его повадке, в манере говорить — явно знакомые черты. Но где? Когда?!

Григорий подходит к Маше Мясниковой. Они о чем-то негромко беседуют. До Веры долетают только некоторые слова:

— Гектограф... обучить... «Шаг вперед, два шага назад».

Сразу Вера не могла вспомнить, где она встречала Григория. И лишь дома, уже лежа в постели и перебирая в памяти путаницу разговоров и впечатлений минувшего дня, она вдруг набрела на след. Конечно, это был он! Как она сразу не вспомнила тот день!..

Зима... Окраина города... Узкие сани, и в них человек в студенческой тужурке. Волосы у него заиндевели, и он кажется совершенно седым. Студента держат двое жандармов. Вокруг переговаривается толпа. Внезапно студент, стряхнув жандармов, встает во весь рост.

— Товарищи! Царское правительство, полиция и попы...

Пожилой черноусый жандарм зажимает ему рот и бьет по глазам кулаком. Взметнув за собой тонкую снежную пыль, сани исчезают за поворотом...

Так вот он какой, этот Григорий! Вера лихорадочно старается представить его лицо, фигуру, жесты, отыскать в них печать героизма и страдания. Но память услужливо подсовывает ей облик обыкновенного человека, в котором нет ни одной романтической черты. Худое, немного усталое лицо, темные, без блеска, глаза и тихий спокойный голос.

Кружок чаще всего собирается у Григория. Месяца через два Вера узнала, что его фамилия Вечтомов^[11].

Приходят к нему поодиночке; читают брошюры, книги, вместе разбирают прочитанное. Иногда Маша приносит рукописные листовки, призывающие к борьбе с самодержавием. Она учит Веру переписывать их печатными буквами, размножать на гектографе.

Веру не захватывает эта работа. Переписывая листовки, она откровенно скучает. Вот если бы расклеивать их! Это требует смекалки, ловкости и незаурядной храбрости. Просить Машу об этом — нескромно. Пришел день, когда Мясникова сама предложила Вере расклеивать листовки. Это была перепечатанная листовка Петербургского комитета большевиков, которая начиналась словами:

«Свобода покупается кровью, свобода завоеывается
с оружием в руках, в жестоких боях...»

— Только будь осторожна, не попадись. Если боишься, скажи прямо и лучше не ходи. Ну-ну, не обижайся.

...Под утро Верочка вышла на улицу. Было безлюдно и пасмурно. Над мостовой редел сырой ночной туман, и сквозь его тонкое волокно все окружающие предметы проступали неясно, будто они написаны на холсте пастельными красками. Вера идет неторопливо, словно на прогулке. На перекрестке она замедляет шаг и оглядывается. Город будто вымер — настолько неестественной и напряженной кажется преддурренная тишина.

Мазок кистью по стене — и на ней забелел листок. Теперь пора уходить, и как можно быстрее. Нужно найти другое место. Хорошо бы опять перекресток. Здесь листовки сразу бросаются в глаза.

Вера осторожно выглядывает за угол, и сердце испуганно екает: шагах в двадцати от угла — «архангел».

«Кажется, дремлет», — решает Вера. В голову вдруг приходит озорная мысль: вот бы кому на спину листовку нацепить! От этой мысли становится весело. Страх окончательно пропадает. Теперь Вера не чувствует ни малейшего напряжения, и листовки появляются на стене словно сами собой. Их число растет.

«Пора переменить улицу, — думает Вера. — Только не нужно оглядываться, чтобы не навлечь подозрений».

С каждой новой листовкой Веру все больше и больше захлестывает торжествующее чувство победы. Ей кажется, что весь свет поет, сияет, исторгает тепло и радость. Сердце ее сладостно забило. Усталости нет. Нет ощущения бессонной ночи. По дороге домой Вера едва сдерживает желание запеть, во весь голос

запеть, чтобы настежь распахнулись окна спящих домов и люди, слушающая песню, завидовали ее счастью.

Дома Вера своим ключом открывает подъезд и хочет незаметно проскользнуть к себе, как вдруг слышит голос отца:

— Сойди, пожалуйста, в гостиную, мы с мамой ждем тебя.

«Неужели они уже встали?» — удивляется Вера. Но, войдя в гостиную, она по лицам родителей догадывается, что они вообще не ложились.

— Верочка, — начала мать, — нам не нравятся твои бесконечные отлучки. Пойми, что молодой девушке не годится уходить из дому тайком от родителей. Где ты была?

— У знакомых.

— Кто они? Почему ты не приглашаешь их к себе?

— Со временем я обязательно это сделаю. Все? Я могу идти?

— Нет, — твердо сказал отец. Вера посмотрела на него внимательно и удивленно:

— Почему?

— Потому что в городе говорят: «Вера Булич встречается с политическими». Я бы с этим подождал до совершеннолетия.

— Возраст тут ни при чем. Все честные люди не могут мириться с существующим положением.

— Конечно! — Отец нервно хохотнул и забегал из угла в угол. — Вы в пятнадцать лет это уже усвоили, а мы, дожившие до седых волос, ничего не понимаем! Смотри, мать, и любуйся современной молодежью: от горшка два вершка, а у нее уже свое собственное мнение и родители ей нипочем. Нет, милейшая Вера Петровна, пока не подрастешь, не приобретешь знаний, лезть в политику — это безумие, это дилетантство!

«Что такое «дилетантство»?» — мучительно гадают Вера.

— Доченька, — снова вступает мать, — подожди хотя бы до окончания гимназии.

— Я не ожидала этого от вас, — говорит Вера, — вы рассуждаете так, как могут рассуждать люди, которым безразлично все, кроме личного благополучия... Вы уходите от правды. Из-за таких, как вы, гибнет Россия. Мне стыдно за вас! — с яростью выкрикивает она...

— Эти разговоры ничего не изменят, — оставшись наедине с женой, говорит отец.

И он оказался прав. Вера по-прежнему пропадает все вечера. Мучается вечерами и ночами мать в ожидании чего-то страшного и непоправимого, что должно случиться вот-вот, не сегодня-завтра. Теперь объяснения между дочкой и родителями происходят почти ежедневно. Родители считают, что у Верочки испортился характер. Она стала замкнутой, резкой и

раздражительной. А Вера уверена, что с ней несправедливы.

Однажды отец, потеряв терпение, в категорической форме заявил:

— Отныне ты будешь сидеть дома. Все.

Спорить Вера не стала: бесполезно. А когда ее заперли в комнате, она в тот же вечер, перемахнув через подоконник, с пузырьком туши для гектографа навсегда ушла из родительского дома.

* * *

По совету Маши Мясниковой Вера устроилась в доме на Старо-Горошечной. Комната была большая и неуютная, разделенная пополам выцветшими от стирки ситцевыми занавесками. Посредине — длинный некрашенный стол, у стен — деревянные лавки и кровати. Одна половина — мужская. В ней обитают Гриша Вечтомов и его однокашник Беляков. Другую половину занимают девушки — сестра Белякова Вера и Фира Корпачева.

Свое общежитие его обитатели гордо именуют «коммуной». Веру Белякову, старшую из коммунаров, величают по имени и отчеству. Коммунары репетируют первоклассников, а заработанные деньги — в общий котел.

В коммуне интересно. Здесь живут особой, отличной от других квартир, жизнью. Не певчие канарейки и разговаривающие попугаи развлекают ее хозяев. Тут постоянные, бесконечные споры о том, «кому на Руси жить хорошо», о роли крестьянства, об отношении к кадетам. Предметом дискуссии бывает прибавочная стоимость. А то вдруг возникает перепалка вокруг Гамлета — принца Датского.

Вера быстро подружилась со всеми. Сначала она стеснялась, а привыкнув, сама нет-нет да и вставит словечко в споре.

Новая жизнь, новые люди захватывают Веру. Она реже вспоминает о доме. Дел — по горло: занятия в гимназии, листовки, беседы с работницами. Только вот заработка нет. Стыдно жить на чужой счет: это изводит. А устроиться не так просто. Какой хозяин возьмет дворянку, сбжавшую из дому, к себе на работу? Неприятностей не оберешься.

Наконец Веру принимают ученицей в шляпную мастерскую мадам Кривиной. Собственно, мастерской это заведение назвать трудно. У мадам Кривиной всего пять мастериц. Сама хозяйка оказалась на редкость вздорной и взбалмошной. Она из той породы дам, у которых настроение меняется каждые пять минут.

То она топает ногами, рычит, то начинает кричать о падении нравов, а то становится в позу и убеждает окружающих, что она тоже передовой человек, с «идеями», стоящая «за свободу, равенство и братство», что вообще она «социалистка». Немудрено поэтому, что у хозяйки не остается времени слушать, о чем рассказывает работницам ее новая ученица.

Может быть, именно тогда в этой шляпной мастерской зародились у Веры навыки организатора, появилась настойчивость, неистощимое упорство в достижении цели. Вероятно, эти ее качества были замечены, так как через короткое время Вера начинает выполнять поручения членов Казанского комитета большевиков.

При посредстве приказчика книжного магазина Бориса Феликсовича ей назначают конспиративные явки товарищи Кулеш, Лозовский (настоящая его фамилия Дриздо), Андрей — Бубнов, Трофим, или, иначе, Анатолий Машкин, Терентий — Езерский.

Вера становится связной между комитетом и товарищами, работавшими по технике, — Линой Прохоровой, Леvidовой, Морозовой и Адамской. А вскоре и сама Вера устраивается на работу в типографию Ключникова ученицей.

Проходит еще немного времени, и с Верой встречается председатель Казанского комитета РСДРП(б) товарищ Трилиссер. По его предложению Вера устраивает заседание объединенного комитета учащихся средних учебных заведений города Казани. Собрание происходит на частной квартире в районе Арского поля, где присутствует и товарищ Трилиссер.

* * *

Первый урок — география. Закрыв уши руками, Вера уткнулась в учебник. Прошлую ночь мучила зубная боль, и сейчас смысл прочитанного доходит с трудом. Каждую фразу приходится перечитывать. В голову упорно лезут мысли о доме. Как там родные? В конце концов они хорошие, славные, добрые, хотя и не могут понять ее... Она обязательно придет домой, вот только закончит пятый класс. Но о постоянном возвращении домой не может быть и речи.

В эту секунду голос преподавателя громко назвал ее фамилию.

Вера вздрогнула и подняла голову. Господин Винокуров, по прозвищу Кокетка, молодой блондин со слащавым лицом, насмешливо смотрит на нее до прозрачности светлыми глазами.

— Сожалею, мадемуазель, что оторвал вас от занятий, но уроки все же положено учить дома, — с издевкой в тоне говорит Винокуров. — Ах да, пардон! — Преподаватель церемонно кланяется. — Я совсем было упустил из виду: вы ведь всерьез заняты политикой. А она, конечно, отнимает много времени, вы даже дома бывать не успеваете.

Вера с трудом сдерживает себя. Она еще не понимает, куда клонит географ, чего он хочет. И выжидает.

— Мы решили облегчить вам жизнь, — добавляет Винокуров и язвительно улыбается, но тут же хмурится и резко заканчивает: — Вы исключены из гимназии, извольте покинуть класс.

— Нельзя ли узнать, за что? — Вера выжидательно щурит глаза.

— О! Вы не знаете? — всплескивает руками Винокуров.

— Будьте любезны объяснить! — резко требует Вера.

— С удовольствием! — Географ снова наигранно расшаркивается. — За поведение, милая барышня: богохульство, побег из дому, за политику. Надеюсь, этого достаточно?

— Любопытно, господин Винокуров, откуда у вас такие исчерпывающие сведения? Не из охранки ли? Случайно, вы там не служите?

Преподаватель задыхается от злости. Он теряет дар речи и только жестом показывает на дверь.

«Только бы не показать этому негодяю, что я дорожу их гимназией», — думает она. Захлопнув книгу, не спеша, с достоинством Вера направляется к двери. Класс замер. Он провожает ее сочувственными взглядами.

По дороге домой Вера постепенно успокаивается. Ну раз так получилось, что поделаешь. Придется снова сдавать экстерном. Не привыкать. Она махнула рукой. Исключение из института было куда более ощутимым ударом. Переживу и это. Не покоряться же всякой дряни, в самом деле.

Вера вспомнила институт благородных девиц... Как это все отдалилось, куда-то ушло. Разве она думает о нем? Нет! А ведь совсем еще недавно казалось, что она не перенесет позора... Но все забыто. Время — чудодейственный лекарь. Мотнув головой, точно сбросив с себя тяжесть, Вера бодро зашагала в коммуны.

Но беда одна не приходит. На Старо-Горошечной Веру ждали двое полицейских^[12]. Судя по позам этих господ, обыск был уже закончен, а на лицах у них написано, что успехом он не увенчался.

Вера даже не удивилась появлению полиции. Этого надо было ожидать. Ее губы как-то сами собой сложились в насмешливую

улыбку: так велико было ее презрение к представителям власти. Но сердце кольнуло больно и неприятно.

Войдя в комнату, Вера подняла несколько книг и поставила на полку. Потом наспех побросала в шкаф валявшуюся на полу одежду и повернулась к полицейским:

— Идите, — совершенно спокойно сказала она. Полицейские переглянулись, и один из них удивленно пробормотал:

— Ого, черт возьми!

* * *

Знакомству с полицией Вера не обрадовалась, но и не испугалась. Как ни странно, она испытывала совсем неуместное чувство любопытства: а что будет дальше?

Вера трезво отдавала себе отчет, что ей придется многое выдержать. Но она была уверена в себе.

Веру доставили в пересыльную тюрьму: губернская, как она поняла из разговоров конвоиров, была переполнена. «Пересылка» находилась у самого кремля, и в подавляющем большинстве там были уголовники. Для политических полгода назад оборудовали три женские камеры, в одну из которых и попала Вера.

В камере кроме нее находились еще трое: двое — совсем молоденькие, а третья — старуха. Ее вид так поразил Веру, что она остановилась, едва переступив порог. У заключенной было безжизненное, как маска, лицо, на котором цвели неестественно огромные, детские глаза. Они походили именно на цветы, фантастические синие цветы. И столько в них было простодушия, молодости и силы, что Вера не могла оторвать взгляда.

— Идите сюда, — говорит женщина. — Здесь есть свободные нары.

Будто очнувшись от наваждения, Вера переводит дыхание и шагает к нарам.

— Садитесь. Или прилягте, если устали. — Женщина улыбнулась. — Правда, лежать здесь не очень приятно... Но ничего, это скоро пройдет. Привыкнете.

Вера посмотрела на нары: ни подушки, ни одеяла. Только соломенный матрац, да и то такой грязный и засаленный, словно его подобрали с помойки.

«А ты белоснежных простыней ожидала?» — зло подумала о себе Вера и, сбросив туфли, решительно забралась на нары. Заключенная посмотрела на нее одобрительно, но ничего не сказала.

Вера бегло осмотрела камеру: низкие каменные своды, на которых проступают темно-серые пятна; на зарешеченном окне толстый слой пыли и паутина; щербатый цементный пол. Внимание Веры привлекают стены. На них не только обычные надписи, но и целые серии картин. Вот изображение казни: несколько уродливых фигур, нарисованных карандашом, выстроились в ряд у виселицы. Под ними надпись: «Жду смерти», «Спокойна». А чуть ниже приписка: «Сегодня увели Анну, осталась одна. Жду».

Вера долго рассматривает изображение, и ей вдруг кажется, что фигуры у виселицы зашевелились. Сердце обдает неприятный холодок. Вера отводит глаза и начинает читать стихи. Стихов на стенах множество, известных и неизвестных, хороших и плохих. Вот и лермонтовское четверостишие:

Прощай, немытая Россия —
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ!

— Ерунда, — в унисон Вериным мыслям, видимо перехватив ее взгляд, неожиданно говорит женщина, — бороться надо здесь, в немытой России...

Помолчав, она так же неожиданно спрашивает:

— Видимо, плохи их дела, если они детей сажать начинают?

Вера пожимает плечами.

— Ты впервые?..

— Да.

— Будь осторожна. Их методы — подсматривание, слежка, провокация. — Старуха понижает голос, и глаза ее теряют теплую синеву. — Держи язык за зубами.

Старая женщина подвигается ближе, и Вера видит вдруг, что все тело у нее покрыто сухой и колючей чешуей, как у рыбы, которая долго пролежала на солнце. Вера инстинктивно отшатывается.

— Не бойся, — негромко говорит заключенная. — Я не заразная. Это от истощения. Тяжелая форма псориазиса... Слушай, держись — это главное. Надо держаться, и ничего не бойся. Поменьше рассказывай. На допросах лучше всего молчать, иначе запутают. И бить они не посмеют — ты несовершеннолетняя. Понимаешь?

— Понимаю. Буду держаться.

— Вот-вот, молодец. Так надо. Когда пройдешь тюремную науку, появится опыт — тогда легче будет. Не верь, если тебе

скажут, что товарищи выдали тебя. Остерегайся людей, которые лезут в душу. Это либо предатели, либо болтуны.

Женщина замолчала и посмотрела на дверь: в двери повернулся глазок, затем открылась кормушка, и чей-то густой бас сказал:

— Булич, на допрос!

Вера встала и молча вышла в коридор.

Допрашивают в тюремной конторе. Там за большим канцелярским столом сидит немолодой жандармский офицер. Лицо у него худое, а кожа вокруг глаз со множеством мелких морщинок напоминает печеное яблоко. Голову жандарма украшает круглая лысина и редкие волосы над узким лбом. Увидев Веру, он принимает горестное выражение.

— Не хорошо-с, мадемуазель, — говорит жандарм с укоризной в голосе. — Я убежден, что вы уже раскаиваетесь в своих поступках. Ах молодежь, молодежь! Мы понимаем: причина — хитрые люди. Они запутали вас, мадемуазель. Это враги престола, отечества, враги ваши и ваших родителей. Ведь у вас нет ничего общего с этой голытьбой. А свобода хороша! Что может быть сладостней, прекрасней свободы? Подумайте, взвесьте все. Ваши подруги гуляют, наслаждаются природой, вкушают радости жизни, а вы в это время сидите взаперти.

Взглянув в Верочкины глаза, жандарм запнулся. Уж очень они были тверды и не по возрасту непроницаемы.

Вера умышленно молчит. Демонстративно отвернув голову, она глядит в окно, которое выходит в тюремный двор. Это для нее первый экзамен. Она не вправе, не должна, не может провалить его. Ответить, заговорить сейчас — это равносильно отступлению, сдаче позиций.

Следует неловкое молчание, и наконец жандарм выдавливает из себя:

— Вас, вероятно, огорчил обыск? Но на это, право, не следует обращать внимания.

«Обыск, — подумала Вера и презрительно усмехнулась. — Полиция, называется, сыщики... Олухи, ничего не нашли, а найти-то можно было...»

— Вот наказание божье! Вы будете наконец отвечать? — Офицер начинает нервничать, и брови у него движутся, словно волосатые гусеницы. — Стыдно, барышня! Я в отцы вам гожусь, а вы...

Вера упорно молчит.

— Ну ладно, — с угрозой говорит жандарм. — Рано или поздно вы заговорите. Можете идти...

Когда Вера вернулась, старухи в камере уже не было. На

нарах лежала коротенькая записка:

«Прощайте, мой молодой друг! До лучших времен.
Будьте мужественны. Ошанина».

— Ошанина! Так вот кто эта старуха! Ошанина — это летопись, это сама история «Народной воли» и «Черного передела». Почти вся ее жизнь прошла на каторге, в тюрьмах и ссылках...

Остановившимися, бессмысленными глазами Вера смотрит на записку. Зачем столько мук и страданий? Куда они смотрят? Ведь семидесятые годы давно позади. Самое страшное — остановиться и не понять этого! Лучше — смерть. Повернувшись лицом к стене, Вера заплакала беззвучно и сдавленно...

«Трудно, невероятно трудно...»

* * *

Следующий допрос состоялся через неделю. На этот раз Вера резко меняет тактику поведения. Еще с порог она заявляет:

— Я требую, чтобы вы освободили меня. — Это ее первые слова за все время следствия.

У жандарма удивленно устремляются вверх брови:

— Вот как?

— Да. У вас нет ни малейшего основания задерживать меня. В противном случае представьте доказательства моей вины.

Жандарм усмехается:

— Зачем же так спешить, милая барышня? Мы — народ гостеприимный, сразу никого не отпускаем. Да и так ли уж вам плохо у нас?

— Повторяю: я требую, чтобы...

— Молчать! — Офицер грохнул кулаком так, что подпрыгнула чернильница. — Требовать будем мы! А вы можете только просить, умолять, как умоляют за вас ваши родственники.

— Не орите, — спокойно заявляет Вера. — Кто просит за меня?

— Ваши родители и ваш дядя, всеми уважаемый Александр Николаевич. Вы опозорили его седину, а он просит за вас, неблагодарная.

Вера громко хохочет. Она представляет себе седину дядюшки. Это у него-то седина? У кого днем с огнем на голове волоска не сыщешь!

— Прекратите дурацкий смех. Сейчас придет ваш дядя.

И словно в подтверждение слов жандарма в контору

вкатывается Александр Николаевич Булич. Он толст, громогласен, как всегда. Разговор между дядей и племянницей происходит короткий и грубый.

— Верка! — начинает дядя без всяких предисловий. — Ты круглая дура. Ну за каким чертом понадобилось тебе связываться со всякой интеллигентской швалью?

— Не стоило вам, дорогой дядя, утруждать себя и приходить сюда из-за меня.

— Зачем ты это сделала? Говорили ведь тебе, предупреждали. Вот до чего дошло... До тюрьмы. Стыд, позор и срам...

— А мне здесь хорошо, — отрезает Вера.

Александр Николаевич оторопело смотрит то на жандарма, то на Веру...

Вера про себя отмечает, что дядя ее по-прежнему непроходимо глуп и спесив. Спеси у него хватит на троих. Спесь заменяет ему недостаток ума, делает его безапелляционным в суждениях и уверенным в действиях. То, чего дядя не понимает, он считает идиотизмом. Вероятно, поэтому все происходящее в области политики он расценивает как придурь своего века. Интеллигенцию дядя презирует искренне и без оговорок. Его раздражают эти безродные, неизвестно откуда взявшиеся людишки с претензиями на какое-то положение в обществе. Дали бы ему власть, он бы им показал «кузькину мать»! Единственное сословие, которое, по мнению дяди, заслуживает уважения, — дворянство.

Узнав про Верочкины «подвиги», Александр Николаевич обрушивается на брата и мечет громы и молнии по адресу племянницы. Пользуясь своими связями, Александр Николаевич берется выволить Веру из тюрьмы при условии, что племянница уедет с ним в его поместье. Там он собирается заняться ее воспитанием.

Когда жандарм объявляет об этом Вере, она не возражает: лишь бы освободили, а там видно будет. Сбежать из дядюшкиного имения — дело нехитрое.

У ворот тюрьмы их ожидает карета. Кучер — длиннорукий, чубатый парень с наглыми кошачьими глазами — оглядывает Веру с головы до ног.

Дядя залезает в карету первым. Вера усаживается рядом. Кони трогают.

«Дорогой дядя» сердито сопит и ругается себе под нос:

— Я из тебя всю дурь вышибу, — бормочет он, — ты у меня будешь человеком.

Дядюшкины угрозы нестерпимо раздражают Веру. Она знает им цену. Дядя всегда отличался способностью создавать много

шума.

Вера думает: почему так не похожи друг на друга родные братья, не только внешне, но и внутренне. Очевидно, виновато богатство. Дядя богат... Интересно, как выглядит сейчас его имение. Верочка там гостила, но из памяти выветрилось все, кроме старых тополей возле усадьбы и запаха парного молока...

Под стук колес и равномерное покачивание кареты Вера начинает дремать.

* * *

Карета дрогнула и резко остановилась.

— Верка, Верка, приехали, слава богу, — прогрохотал дядюшка.

Верочка успела уже открыть глаза. Она очень устала. Все тело ныло от долгого сидения. Руки и ноги точно одеревенели. Она выглянула в окошко: вокруг суетились люди. Больше всех суетился дядюшка. Он отдавал приказания. Его хлебом не корми — дай командовать.

Вера соскочила на землю и, переступая с ноги на ногу, стала осматриваться. Она узнала это старинное здание с колоннадой и лепными львиными головами на фасаде. Имение, принесенное дяде в приданое женой, стояло в парке. «За домом начинается бор», — вспоминает Вера. Бор — предмет дядюшкиной гордости. Там, по его словам, не перевелись медведи и волки. Насчет хищников дядя, конечно, прихвастнул.

Вере стало тоскливо — хоть реви. Мысль о том, что она доставлена сюда не на прогулку, щемит сердце, не дает покоя. С ужасающей силой Верочке хочется бежать. Бежать без оглядки сейчас же, сию минуту.

А пока она стоит окаменевшая, с застывшим лицом. Оклик дяди возвращает Веру к действительности. Понурившись, она шлепает вдоль служебных построек и наконец останавливается у крыльца.

— Принимайте гостью, — говорит дядя какой-то женщине в чепце.

Женщина быстро взглянула на Веру и, взяв за руку, ввела в комнату. На лице женщины написано откровенное любопытство. Но, сказав несколько ничего не значащих слов, женщина оставила Веру одну.

Не раздеваясь, Вера бросилась в постель. В темноте, прижавшись к подушке, она думает и думает. Мысли идут тоскливые. Вспоминая своего «ненаглядного» дядюшку, она

сжимает кулачки.

Утром появляется лакей, молча ставит еду на столик и так же безмолвно исчезает. Когда Вера пытается выйти, оказывается, что дверь заперта. Стоит подергать за ручку — раздается голос слуги:

— Выходить, барышня, не велено. Александр Николаевич запретил.

И днем и ночью здесь тишина. И в этой изнуряющей тишине томится живая Верина душа. О если бы она могла улететь!

Заложив руки за спину, Верочка вышагивает по комнате и опять думает. Она отчетливо рисует себе, как волнуются друзья, как ищут ее. От этого становится и тревожно и радостно на сердце. Верины мысли работают в одном направлении — бежать, дать о себе весточку товарищам.

Пока это мечты. Но вскоре, однако, появляются просветы: Вере разрешены прогулки под надзором слуг.

«Как избавиться и от этой опеки?»

Дядя внушает: только послушанием. Вере в высшей степени наплевать на дядюшкины нравоучения, но сейчас ей выгодно притвориться. Послушание так послушание. Вера усердно выполняет дядюшкины предписания.

— Как ведет себя мадемуазель? — Этими словами начинается дядюшкино утро.

— Они такие вежливые, такие тихие, послушные, только и знают, что книжки читать, — докладывает горничная.

— Барышня исправляются, — шепчет лакей.

«Прикрутил твою Верку, не узнаешь, шелковая стала, любоваться будешь», — бахвалится в письме к старшему брату Александр Николаевич.

«Поведение безупречное», — пишет он в другом письме.

Теперь надзор совсем ослаблен.

Вера бродит по парку. За парком раскинулось большое русское село. Она уже подходила к его околице, но войти не решилась: крестьяне смотрят исподлобья.

Как быть? Отправить письмо через сельского старосту? Опасно. Староста — дядюшкин прислужник.

Нет, нужно связаться с учителем. Это — идея! От радости Вере хочется прыгать. Решив не медлить, она собирается в путь.

Утро было теплое и немного туманное. Когда туман рассеялся, небо стало прозрачно-голубым.

Еще издали Вера увидела на крыльце школы молодую женщину в платочке. Подошла ближе — знакомое лицо. На вид учительнице лет двадцать пять. Одета по-городскому, но просто. Лицо открытое, румянец во всю щеку.

«Где она видела эти пышущие здоровьем щеки? — Вера никак

не может вспомнить. — Лицо безусловно знакомое».

— Не узнаете? — лукаво улыбается учительница. — У Митрехиной^[13] на Рыбнорядской встречались, — напоминает она.

До Насти Румянцевой — так зовут учительницу — уже дошли слухи о прибытии в имение строптивой племянницы помещика. Учительница постарается с первой же оказией сообщить Вечтомову о Вериных злостных злоключениях.

— Только поскорей, — просит Вера. — Невмоготу уже.

Румянцева приглашает в дом.

— Дядюшкины ищейки могут пронюхать, — говорит Вера. — Как-нибудь в другой раз под вечер обязательно выберусь, — обещает она.

Воспользовавшись отъездом дядюшки на охоту, Вера направляется в деревню. Бегом проносится она по парку. Приблизившись к школе, осмотрелась: как будто никто не видит. Совсем стемнело. Вера стучит. В комнате людно. Вера здоровается. Воцаряется неловкое молчание. Прерванный разговор никак не возобновляется. Вера ощущает холодок отчуждения и уже жалеет о приходе. Положение выправляет хозяйка.

— Товарищи, — говорит она, — наша гостья только что из губернии. Попросим ее рассказать о новостях.

Все поворачиваются к вновь прибывшей. Вначале Вера смутилась, но быстро оправилась.

Тихо, спокойно она начинает рассказывать о пребывании в тюрьме, о том, что в имение доставлена силой, на выучку, под надзор дядюшки. Затем рассказывает о товарищах по тюрьме, о их стойкости.

Теплеют глаза у собравшихся. Это красноречивее крепких рукопожатий. Только вот кучер дяди Мотков по-прежнему в стороне. Недоверие не исчезло у него.

Дни идут. Но стоит Моткову и Вере встретиться, как оба вспыхивают. Взаимным насмешкам нет конца.

Хитро поглядывая на Веру, Мотков с иронией спрашивает:

— А что, барышня (иначе к Вере он и не обращается), ежели мужички на вашу усадьбу красного петуха пустят?..

— Вы имеете в виду усадьбу помещика Булича, земского начальника, — холодно подчеркивает до предела обозленная его недоверием Вера.

— Почему только его? А именице вашей матушки Чаадаевой в расчет не идет? Небось жалко: как-никак свое добро?

Вера смотрит на Моткова, видит его ухмылку...

— Представьте себе — не жалко... И вообще запомните: я не

из жалостливых... Разжалобить меня не так уж легко. Если вы не болтун, давайте попробуем, пустим вашего петуха, — уже совсем спокойно и вполне серьезно заканчивает Вера.

Мотков поражен. Ничего подобного он не ожидал: «Говорит она ядовито, зло, твердо, и колебаний не заметно».

...Душная летняя ночь. Все благоухает и цветет. Мир и тишина. Но Вере не до этого. Вдвоем с Мотковым ползком подбираются они к скирдам сена. Мотков не верит своим глазам. С открытым ртом, удивленно смотрит он на Веру.

— Ветер западный, в сторону имения, — говорит шепотом Вера. — Со стогов пламя обязательно перекинется на гумна, а оттуда на конюшню, затем на усадьбу. Только лошадей выпустить не забыть бы — животных-то жалко. В доме все спят, — добавляет она после паузы. — Ну, давайте керосин.

Мотков бледен так, что даже в темноте это заметно. Вера берет спички, решительно зажигает. Огонь змейкой бежит по земле все дальше и дальше...

...Горят гумна, служебные постройки, пылает усадьба. К небу вздымается море огня. Тревожно бьют колокола, слышен набат...

Вера с Мотковым верхом на лошадях держат путь к имению сестер Чаадаевых.

Через несколько дней губернская хроника пополняется сообщением о поджоге еще и чаадаевского имения. За ним следует серия поджогов помещичьих имений.

Губернская уголовная хроника трубит о разыскиваемой страшной поджигательнице, руководительнице бунтовщиков Вере Булич^[14].

Архиепископ Андрей предает Веру Булич проклятию.

* * *

Если бы Вера и захотела по порядку рассказать о событиях, происшедших с ней с того момента, когда она бежала из имения, до того, как, крадучись по ночам, добралась наконец до города, она все равно не смогла бы этого сделать, так все перепуталось в ее голове.

А потом, по-видимому, ей не совсем приятны эти воспоминания. На вопросы товарищей о поджогах имений она неизменно отделялась лаконичным:

— Бросьте вспоминать эту историю.

Быть может, тут сыграл какую-то роль разговор с Гришей Вечтомовым. Но разве она об этом кому-нибудь скажет? Гриша называет этот случай интеллигентским, эсеровским заскоком.

Другая на месте Верочки наверняка разревелась бы. Но не Вера. Она стала только чертовски злой. А тут еще необходимость сидеть на месте. Сначала Вера пыталась бушевать, потом покорилась.

На улице уже зима, а Верочке все равно нельзя показываться на улице. «Страшного поджигателя» продолжают искать. Она может и себя погубить и товарищей подвести. В таких случаях полагается менять местожительство. Сие решено окончательно и бесповоротно.

* * *

Станции, полустанки, села, города, поля, леса и снова станции и поля. И всюду, куда ни кинешь взгляд, белый искристый снег.

Вера лежит на полке и внимательно смотрит в окно вагона на серое, холодное небо. Дорога располагает к мечтам и воспоминаниям. Вера думает о жизни без друзей и близких. Жизнь рисуется ей теперь удивительно сложной и несуразной. А в вагоне хорошо, тепло, приятно укачивает. Глаза сами закрываются. «Мама говорила, что в поезде всегда лучше спится». Вера забывается...

— У вас, милая, платок упал. Возьмите.

Вера вздрагивает, открывает глаза. Перед ней молодая девушка с длинной косой, соседка по купе.

— Мерси.

— Хотите чаю?

— Спасибо вам большое.

Вера встала, пригладила волосы, протянула пакетик попутчице:

— Берите, — и сама взяла в рот леденец.

Так состоялось знакомство. Удивительно, как быстро сближает людей дорога. Девушку зовут Катей. Она курсистка, едет домой на рождественские каникулы.

А что ждет в этом городе Веру?

Поезд остановился. Катя пристально взглянула в окно:

— Что-то произошло. Нет, это не остановка. Пойдемте посмотрим.

Девушки вышли в тамбур, открыли дверь. Лицо обожгло ветром.

— Закройте дверь, и так холодно, — раздался за спиной капризный женский голос.

Катя обернулась.

— Катя? Золотая, милая, вы откуда?

Они обнялись и расцеловались.

Капризная дама несколько дней назад выехала из Ярославля и теперь уже возвращалась домой.

— Что там у нас? — спрашивает Катя.

— Все — славу богу.

— А какие новости в городе?

— Вику помните?

— Еще бы, мы с ней учились вместе.

— Охранка забрала.

Катя всплеснула руками. Вера насторожилась.

— Вика всегда производила странное впечатление. А ее подруга Зина?

— Зину арестовали еще раньше. Человек двадцать политиков схватили. В городе только об этом и говорят.

«Черт возьми, не провалена ли явка? — думает Вера. — Нужно быть ко всему готовой. Обстановка осложняется, попала, что называется, из огня да в полымя», — усмехается Вера в такт своим невеселым мыслям.

«Как проверить обстановку? Через кого? Как назло, в Ярославле нет ни одного знакомого. Для проверки одного желания мало, необходимо действовать. Но как?»

* * *

Ветер. Снег. Вьюга. Вера шагает по улице незнакомого города. Вот наконец и нужный переулок. Здесь одна из явочных квартир, созданная видным деятелем большевистского подполья И. Дубровинским.

От секретаря Казанского комитета большевиков Терентия (Езерского) у Веры явка к двум сестрам: Любе и Лизе Коган. Одна из них — зубной врач. Для такого случая необходим маскарад: повязка на щеку и страдальческое выражение лица.

На парадной двери трехэтажного дома — дощечка:

*«Дантист принимает ежедневно с 10-ти часов утра
до 6-ти часов вечера. 2-й этаж».*

Войти сразу — рискованно. Вера проходит мимо парадного и снова меряет шагами тротуары. Потом переходит на противоположную сторону и останавливается у зеркальной витрины. Это способ проверки, нет ли слежки за домом. Как будто все нормально. Вечереет. С Волги дует пронизывающий ветер. Становится холодно. Вера мерзнет. Пора решиться. Она

переходит улицу и медленно подымается на второй этаж. Нервы напряжены до предела. За дверью шаги. Мысли молнией проносятся в голове. Вере мерещится засада. На пороге приятная молодая женщина.

— Заходите, садитесь. Придется немного подождать, — приглашает она.

В маленькой приемной две весело, насколько это возможно у зубного врача, щебечущие дамы. Рассеянно слушает Вера дамскую болтовню и хмурится от их пустоты и глупости. И все же эта болтовня действует успокаивающе.

Ее очередь. Пока Вера возится с повязкой, а врач моет руки, она вполголоса произносит условное: «Вам привет из Уфы от Андрея». Теплая волна захлестывает Верино сердце, когда слышатся условные долгожданные слова: «Андрей милейший человек. Как он там?» И опять условное: «Жив и здоров».

Врач и больная крепкожимают друг другу руки и долго, таинственно шепчутся, оглядываясь по сторонам, будто и здесь могут подслушать.

— У нас провалы.

— Знаю, слышала еще в дороге.

— Я постараюсь связать вас с Маришей, — обещает хозяйка.

* * *

Мариша — молодая девушка лет двадцати двух, смуглая, с черными вьющимися волосами, очень хорошенькая. Она секретарь комитета. О Марише говорят с уважением, как о смелом, решительном человеке и авторитетном руководителе.

Мариша испытующе смотрит на Веру и внимательно слушает рассказ о положении дел в Казани.

— Какую работу вы там вели?

— Помощник организатора.

— Кого знаете из наших ярославцев?

— Никого.

В голосе Мариши проскальзывают нотки недоверия. Впрочем, это, может быть, только померещилось. Но Вера почему-то чувствует себя неловко: вопросы Мариши смахивают на допрос.

— А вы Андрея^[15] лично знаете? — продолжает расспрашивать Мариша.

— Андрея Сергеевича? Как же? — радостно восклицает Вера.

Тон разговора Мариши сразу меняется.

— Для вас, — говорит Мариша, — есть у нас на примете комната с полным пансионом, в семье местного обывателя. Они

ищут репетитора для своего чада Мы вас порекомендуем. Условия приемлемые. Хозяева — люди вполне приличные, а главное, в чужие дела нос не суют. Устроитесь, уладите все — и за дело. Нам очень нужны люди. Участок работы вам — Корзинковская мануфактура.

От радости у Веры захватило дыхание. «Подумать только: настоящий промышленный пролетариат! Это не шляпочницы».

Разговаривая, обе незаметно следят за улицей и вдруг одновременно настораживаются: им кажется, что праздношатающийся тип, заглядывающий в нижние окна домов, весьма подозрителен; ведет себя, по меньшей мере, странно. Похоже, он прячется за деревьями.

Девушки уже готовы расстаться, но, оказывается, — ложная тревога. Это мастеровой. Он просто навеселе.

* * *

Месяца еще не прошло после Вериного появления в Ярославле, как приехал уполномоченный ЦК партии товарищ Макар^[16]. Он имеет поручение наладить работу среди ткачей. Макар — нелегал, живет по подложному паспорту. С величайшей предосторожностью встретила с ним Вера. Сначала она долго кружила по городу, пока повстречалась с Маришей. Потом они вдвоем около часа шагали по улицам, заходили в дома и тут же снова выходили. Опять входили в парадное, подымались по лестницам и снова выходили, пока наконец в одном из домов, почти у чердачной площадки, из темноты навстречу им отделился человек. Это и был Макар.

У Макара особые, умеющие заглядывать в душу, глаза. Разговаривает он так, что сразу понимаешь, что надо делать, и очень веришь его словам.

Макар передает Вере текст листовки «Обращение к ткачам». В ней — призыв к забастовке. Листовку нужно размножить. Вера берется это сделать. Она немного волнуется, и это заметно даже по ее голосу. Макар успокаивает. «Все будет хорошо», — говорит он. Макар, вероятно, принимает ее волнение за боязнь, но это не так. Просто она смущена и не уверена, справится ли с поручением так быстро, как требует Макар. А сказать не решается: неудобно.

Случилось так, что товарищу Макару понадобилось срочно переговорить с заболевшей Маришей. Она жила в захолустном уголке города. Найти ее без расспросов, тем более новому человеку, было невозможно. Чтобы не привлечь постороннего внимания, Макар попросил Веру показать ему дорогу. При этом

он поставил категорическое условие: Вера пойдет впереди, а он следом за ней на приличном расстоянии. Вере строго-настрого запрещено оглядываться по сторонам и тем более оборачиваться назад.

Наступил полдень — условное время похода с товарищем Макаром. Вера медленно шагает по улице, равнодушно, казалось бы, проходит мимо сидящих на завалинках кумушек, но не оглянуться, не посмотреть, ни разу не проверить, идет ли за ней товарищ Макар, — это выше всяких сил. И Вера нарушает инструкцию. Она всего только на долю секунды вполоборота прислоняется к забору и делает вид, что рассматривает каблучок своей туфельки. Каково же было ее отчаяние, когда Макара сзади не оказалось. Тут Вера не выдержала и завертела головкой во все стороны. Макара нигде не было видно. Он исчез, словно сквозь землю провалился. Когда Вера окончательно пала духом и была уже готова броситься на поиски заблудившегося, Макар вдруг вынырнул впереди нее из-за выступа ближайшего дома.

Весь дальнейший путь до места назначения прошел без каких-либо происшествий. И только в комнате у Мариши Макар преподавал юной революционерке урок конспирации...

...Вера живет в тесной квартирке двухэтажного домика, который теряется в массе таких же старых, покоробившихся от времени построек. Хозяева не богаты. Единственная роскошь в доме — переходящие из поколения в поколение перины. Родители мечтают об одном — увидеть своего сына в гимназической форме. Вера репетирует мальчика, денег не получает, но находится на полном пансионе.

У Веры отдельная каморка с маленьким окошком. Оно выходит во двор, откуда ветер доносит запахи кухни. Окно плотно занавешено: так удобнее. Поздно вечером, когда все укладываются спать, Вера принимается за работу.

Вот и сейчас все уже спят. Вера развела краску, разложила гектограф, в руках валик. Привычным движением руки она печатает. Готовые прокламации на столе, кровати, стульях...

...И вдруг в ночную тишину врываются резкие удары. Мгновение — и вдребезги летят стекла. Уже ломают дверь.

Квартира переполнена жандармами и городовыми. Предводительствует штатский. «Из охраны», — догадывается Вера.

Охранник похож на селедку своими бесцветными, навывкате глазами и узким лицом.

— Отдайте оружие, — требует он.

— Возьмите, — иронизирует Вера.

Грубые лапы хватают Веру, ощупывают ее тело, больно выворачивают руки. Начинается обыск. Разбирают полы, рвут и режут на части перины и подушки, бьют хозяев.

— За что вы их? — возмущается Вера.

Лютая ненависть бушует в ней. Они избивают невинных людей из-за нее, а она не в силах им помочь, защитить их. Вера вырывается, гневно протестует. Из Вериной груди вырывается истошный вопль, она выскальзывает из рук полицейских и с неистовством начинает наносить им удары.

Ее бросают на пол, топчут ногами. На короткое время она теряет сознание. Из носа и изо рта у нее течет кровь. Тело Веры как стариковское в осеннюю погоду: ломит, болит. Скрипучий голос жандарма только обостряет боль. Вера не слушает вопросов охранников. Ее мысли далеко: она думает — кто еще арестован? Кто повинен в провале? Продолжающиеся побои не производят на нее никакого впечатления.

...Опоясывающие Веру веревки глубоко врезаются в тело, вызывая нестерпимую боль.

С болью она уже как будто совладала. Не справиться ей только с чувством ненависти. Каждая ее частица дрожит от злости.

* * *

Уже месяц, как Вера в заключении^[17]. Времени хватило, чтобы насмотреться на человеческие муки, на страдания людей.

Ярославская тюрьма битком набита политическими. На верхних этажах — камеры смертников. Сейчас двенадцать большевиков ждут казни. Осужденные на смертную казнь находятся под особым надзором. Атмосфера ожидания смерти лежит не только на смертниках. Она давит на всех. Каждый заключенный думает о судьбе своих товарищей.

Несмотря ни на что, эти смертники бодры. Они полны веры и своей железной выдержкой, своим примером зажигают сердца всех окружающих.

Тюрьма живет: голодовки сменяют протесты, и наперекор тюремщикам разносятся песни, вливающие в людей уверенность и силу. Запевают смертники.

В тюрьме введен террор. Вновь назначенный начальник^[18] славится своей жестокостью. Царские сатрапы начинают отличаться. Избиения чередуются с карцерами. Режим жесточайший. Но даже в этих условиях заключенным удастся переписываться и сохранять связь с товарищами на воле.

Сидящему в камере смертников большевику Козюлину из Костромы готовится побег. Через Веру идут письма на волю. Козюлин обитает как раз над Вериной камерой. Связаться с ним помогает тюремная азбука, а потом начинается переписка. Записка закатывается в хлеб, и «ксива» через окно по веревке опускается вниз. Получить письмо, отправить дальше корреспонденцию — дело минутное. Для «почты» отведено вечернее время. Путешествие мякиша на фоне серых стен в темноте остается незаметным. Дальнейший путь писем пролегает через камеры «должников». Это заключенные банкроты — привилегированная часть арестантов, которым дозволено свободно передвигаться по тюрьме и разрешены внеочередные свидания.



В. П. Брауде в Казанской тюрьме в 1915 году. Была осуждена по процессу Казанского комитета большевиков.

Все шло хорошо. Но однажды чуть не перехватили «ксиву». Ищейки что-то пронюхали. Начинается повальный обыск.

В руках у Веры только что полученная записка. Неожиданно на пороге камеры появились тюремщики во главе с самим начальником тюрьмы. Не успевают они приблизиться к ней, как Вера молниеносно хватает горящую керосиновую лампу и бросает в лицо начальнику. Пока ошеломленные тюремщики спасают пылающую бороду своего шефа, Вера успевает проглотить записку к Козюлину. На нее набрасываются, избивают, за волосы тащат по коридорам и лестницам, почти голую бросают в ледяной, темный карцер. Дальше Вера ничего не помнит.

Теперь начальник тюрьмы покажет ей, на что способны царские сатрапы, пришедшие в ярость.

Карцер настолько мал, что двигаться невозможно. Это сырой каменный мешок, весь в темно-коричневых пятнах. Холод сковывает тело, подбирается к сердцу. Чтобы не замерзнуть, надо стать на колени и сжаться. Кажется, что от этого становится теплее. С каждым днем Вера чувствует себя все хуже. Боль в боку не дает вздохнуть. От сырого промозглого воздуха кружится голова.

Следователь и здесь не оставляет ее в покое. По три раза в день открывается дверь. Не рискуя переступить порог, следователь, предусмотрительно закрывая нос душистым платком от дурного воздуха, изводит Веру советами.

Сколько она здесь пробыла? День, месяц, год, вечность? Тело тупо ноет. Отбиты почки и легкие. Опухшие суставы рук и ног не дают покоя. Иногда начинает казаться, что это продолжается бесконечно. И даже тогда, когда понимаешь, что все-таки наступит конец — должен же он наступить! — все равно время тянется невыносимо долго. Да, время тут какое-то особенное, непохожее на обычное. Может быть, потому, что утро, день, вечер, ночь ничем не отличаются друг от друга. Та же темень, то же гробовое молчание. А может быть, все дело в неотступных думах.

И странно, когда вдруг обнаруживаешь, что прошло три месяца.

Наконец перевод в тюремную больницу. Белые простыни подчеркивают желтизну и прозрачность лица и рук. Свежему человеку с воли может почудиться, что перед ним мертвое лицо. Это чернота под глазами создает такое впечатление.

Но Верины глаза по-прежнему полны жизни. Они твердо верят в дело, которому она служит.

В больнице режим чуть послабее, но все же тюремный. Здесь не мешают мечтать. Когда закроешь глаза, приходят чудные фантазии. Нет, не фантазии, а реальные мечты. Вера воочию видит огромные массы. Тысячные, стотысячные, миллионные массы людей. Над ними реют красные флаги. У людей радостные, праздничные лица, в петлицах красные банты, их носят открыто. Полиции не видно. Да ведь это революция!!! Царь сброшен. Власть у рабочих. Тепло разливается в Вериной груди от этих мыслей. А действительность мрачна...

Ни отбитая почка, ни больные легкие (у Веры открытый туберкулез), ни слезные ходатайства родителей — ничто не спасет врага престола...

Власть предрасположенные знают, как расправиться с крамольницей, как быстрее и вернее dokonать ее. И совсем

больную, изможденную, с высокой температурой, в ноябре 1907 года Веру везут в далекую ссылку.

И все последующие годы, вплоть до Февральской революции, это непрерывные тюрьмы, ссылки, побеги, эмиграция, возвращение на родину и снова аресты.

Свобода для нее в эти годы — это короткие, мелькающие промежутки между арестами. Но, несмотря ни на что, борьба продолжалась.

ЛИКВИДАЦИЯ ОСИНОГО ГНЕЗДА

«Я еще, вероятно, больна, раз меня одолевают мысли о прошлом», — подумала Вера Петровна. А потом вдруг снова вспомнила ту зловещую ночь...

...Но что с поручиком Сердобольским?

— Поручик бежал. Остальные арестованы. Ну и заваруха! — сообщает сотрудник губчека Корнеев, пришедший проведать Веру Петровну.

Корнеев, несмотря на молодость, уже много лет простоял у кузнечного горна и, вероятно, до старости продолжал бы бить молотом по наковальне. Но революция изменила его судьбу. Корнеев стал большевиком, и губком направил его в губчека.

Милый Корнеев. Такой огромный, неуклюжий и скромный. На совещаниях он всегда выбирает самое незаметное, самое укромное местечко — где-нибудь в углу. Неслышно садится и с напряженным лицом, тихо, боясь шелохнуться, слушает. Это, однако, не мешает ему резать правду-матку в глаза, говорить то, что думает.

С невинным видом может преподнести Корнеев самые обидные вещи, но так, что, право, на него даже не обидишься.

Ясное дело. После корнеевского сообщения уже не помогли ни уговоры врача, ни строгий наказ Олькеницкого оставаться в больнице до полного излечения.

Через день Вера Петровна явилась, как обычно, на работу в просторную комнату губчека. Ровно в десять началось совещание.

— Следствие, пожалуй, начнем с Нефедова, — предлагает Олькеницкий.

— Почему именно с него? — удивляется Вера Петровна. — Чем он покорило твое сердце?

— На мой взгляд, он труслив, истеричен и, следовательно, скорее других заговорит.

— Все заговорят, — безапелляционным тоном басит богатырь Корнеев. — Только духу малость им поддать надо.

— Как это прикажешь понимать?! — в один голос восклицают Олькеницкий и Вера Петровна.

— Что ж тут непонятного? — удивленно разводит своими огромными, напоминающими кувалды, руками Корнеев. — Ежели их благородия говорить не желают, ломаются — в подвал его. Не поможет...

— Ты что же, чека с жандармерией сравниваешь? Понимаешь, что говоришь? — выходя из себя, Вера Петровна повышает голос.

Олькеницкий грустно покачивает головой и с укоризной

смотрит на этого большого парня с широко открытыми синими глазами.

Корнеев озадачен, немного растерян, даже смущен. На помощь ему неожиданно приходит Нюмин, левый эсер, бывший бухгалтер.

— Да ведь мы, товарищи, — говорит Нюмин, — по-простому, по-рабочему. Мое понимание такое: ежели, к примеру, тебя, Вера Петровна, жандармы, полицейские, охранники и прочие гады били, в карцер сажали, мучили, чего же мы с ними, то есть с буржуазией, церемониться будем? Это форменное предательство интересов пролетариата получается.

Олькеницкий ненавидит высокопарные слова, не переносит трескучих фраз и ненужного пафоса. Он сразу чувствует фальшь: его не проведешь.

— Ты демагогию не разводи! — строго обрывает он Нюмина. — Давай разберемся по существу. Как, по-твоему, лучше доказать правильность того или иного положения или идеи — фактами, доказательствами или грубой силой?

Нюмин усмехается.

— Значит, понимаешь, — продолжает Олькеницкий. — Вы с Корнеевым запомните раз и навсегда: кулаками, фигурально выражаясь, убеждают только идейно слабые. Потому-то жандармы и били нас, большевиков, что чувствовали свое бессилие перед нами. А наша идея сильна, перед ней никто и ничто не устоит.

* * *

Дни и ночи, проведенные Нефедовым в здании окружного суда, необыкновенно ярко врезались в его память и, нужно думать, засели там прочно.

Разве могут когда-нибудь выветриться из его головы баланды, каши и непривычно ранние подъемы, когда вместо привычного денщика в широкий проем двери, как смерч, врвался молодой невысокий паренек в кожанке, с огромным маузером в деревянной колодке на боку и юношеским, срывающимся голосом командовал: «Встать!»

Словно ток пронизывал всех бывших благородий в партикулярном платье. Вскликивание сопровождалось оглушительным треском традиционно щелкающих каблучков.

Одернув кожанку, поправив сбившийся в сторону маузер, парень хозяйским оком оглядывал свою «паству» и начинал перекличку.

Обыденным, само собой разумеющимся стало обращение

просто по фамилии, без приставки. Теперь это никого уже не удивляло. Господин Нефедов стал просто Нефедовым, и это считалось в порядке вещей. Здесь было не до титулов. Нефедов дрожал перед каждой кожаной курткой. От бывшего высокомерия и заносчивости у бывшего превосходительства не осталось и следа.

«Человек ко всему привыкает», — убаюкивал себя Нефедов немудреной философией труса. Он никак не мог еще толком осмыслить всего происшедшего.

Больше всего мучил Нефедова вопрос: все ли его коллеги арестованы или только некоторые, а главное — что с Сергеем Сердобольским? «Если Сергей на свободе, то это самая величайшая несправедливость».

От мысли, что Сердобольский избежал его участи, Нефедов испытывал какое-то смешанное чувство обиды и зависти. Он даже не мог спать. Кто бы знал, как хотелось ему видеть Сердобольского рядом с собой, такого же униженного, как он сам. Минутами ему чудилось, что он слышит голос Сергея где-то тут, совсем поблизости.

Гнетущая тяжесть ожидания тоже не давала покоя Нефедову.

* * *

По-прежнему томительно жарко. Но, несмотря на мучительный зной, в здании бывшего окружного суда идет работа.

В большом зале с высоким лепным потолком трое. За столом Олькеницкий и Вера Петровна. Напротив них, в двух шагах, — поручик Нефедов. Его маленькие веснушчатые руки на коленях: он делает вид, будто совершенно спокоен. Чтобы не выдать дрожи, он плотно сцепил свои миниатюрные пальчики.

Нефедов напряженно выслушивает вопросы, стараясь разгадать скрытое за ними. «Так легче определить линию своего поведения», — думает он.

Нефедову есть над чем задуматься. Разные мысли и догадки вертятся в голове. А следователь настойчиво продолжает пытаться. Вера Петровна поражает его своей напористостью.

Нефедову ужасно не хочется смотреть в ненавидящие, как ему кажется, глаза следователя. Вряд ли их взгляд принесет ему успокоение. Но совсем отводить глаза тоже не годится: следователь, не дай бог, решит, что он пытается многое скрыть. «Нужно умудриться не смотреть на следователя и делать вид, что смотришь на эту распроклятую бабу».

«Какая она жестокая, — размышляет Нефедов. — Эта из тех,

кто способен своими собственными руками расстреливать «белогвардейскую шваль», как она любит обзывать его друзей». Нефедову представляется, что у сидящей перед ним женщины не осталось никаких человеческих чувств. Она фанатичка...

Всякий раз его невольно заставляют съезживаться вопросы следователя:

— Губчека не торопится судить, а следовало бы. Зачем приходили к Сергею Сердобольскому? Как вы оказались у него в доме?

Уже который раз слышит эти вопросы Нефедов, и всякий раз они, словно удар, заставляют его вздрагивать, конечно только внутренне.

Для следователя Нефедов по-прежнему, как граммофонная пластинка, односложно отвечает:

— Не к поручику, а к прапорщику Дмитрию Сердобольскому.

— Разве Сергей не ваш друг?

— Представьте себе — нет. Я знаком только с прапорщиком.

Следователь, кажется Нефедову, сверлит его своими страшными глазами.

«Вот пристала, анафема. Будь она трижды проклята! Чего ей надо?» — Нефедову начинает казаться, что этот допрос никогда не кончится. «Эх, хватил бы ее кондрашка! Как бы это кстати пришлось». Ему страшно хочется видеть: ясное небо заволокли черные грозовые тучи, слышны приближающиеся раскаты грома, удар молнии — и следователь поражен насмерть...

Но настойчивый голос Веры Петровны возвращает Нефедова к горькой действительности.

— Так, наконец, вы образумитесь?

Во время допроса Вера Петровна пристально наблюдает за Нефедовым. Она ищет в его лице, в глазах признаки перелома, когда силы сопротивления врага иссякают, когда он в тупике и должен уже заговорить.

А подследственному начинает казаться, что страшный взгляд следователя, словно змея, вползает в его черепную коробку и начинает проникать своим жалом в самые сокровенные мысли. От этого Нефедову становится жарко.

— А вот прапорщик Сердобольский Дмитрий, младший брат вашего друга, говорит другое.

Нефедов заметно бледнеет и начинает дергаться.

— Как вы смеете называть меня лжецом? Я офицер! Офицер никогда не лжет. — Все это Нефедов произносит с пафосом, почти декламирует. Он старается разыграть возмущение, вскакивает, размахивает руками.

Но стоит Вере Петровне презрительно усмехнуться, как весь

нефедовский запал мигом исчезает и он понуро опускает голову.

* * *

И снова зал с лепным потолком. Снова на допросе смертельно бледный, истерически дергающийся поручик Нефедов. Он то театрально рыдает, то произносит высокие фразы о долге и чести, то вдруг о чем-то униженно молит. А главное, виляет, виляет, виляет: скажет слово и тут же отречется от него.

Но Вера Петровна не унывает. Она чувствует, что представляет из себя этот тыловой вояка. Долго он не продержится. Олькеницкий был прав — у Нефедова «кишка тонка».

У подследственного задержалась щека. Как бы в оправдание он сказал:

— Нервный тик, знаете ли, контузия.

— Приобретенная в тыловых сражениях?

— Что, не верите? — Когда Нефедов спросил это и ждал ответа, глаза его настороженно перебегали с Веры Петровны на Олькеницкого. Щека задержалась сильнее.

— Не верю! — отрезала Вера Петровна.

Нефедов вдруг тонко, голосисто, по-бабьи завыл. «Притворяется», — пишет на клочке бумаги Вера Петровна и незаметно подсовывает Олькеницкому. Тот одобрительно кивает головой.

— Выпейте воды, — предлагает Олькеницкий.

— Покорно благодарю.

Нефедов пьет из кружки большими, жадными глотками, а руки, его руки с веснушками и рыжими волосами, дрожат.

В спокойной обстановке, в дамском обществе — другое дело: там он герой, любые опасности ему нипочем, а тут... Чека — не родная тетка. Нефедов знает: по головке здесь не погладят. Мысленно он давно проклинаят себя: зачем только втесался в этот дьявольский заговор? Кто просил его лезть в эту авантюру. Карьеру собрался сделать, а что вышло?

Теперь, задумываясь над возмездием, он холодеет от страха и снова выпрашивает, вымаливает себе жизнь.

— Меня не расстреляют? — шепчет он. От трусости у Нефедова вибрирует голос. Ему трудно говорить: во рту пересохло, он лихорадочно облизывает губы и умоляюще смотрит то на Веру Петровну, то на этого «чахоточного».

В ответ Вера Петровна пожимает плечами.

— Сохраните мою молодую жизнь, — кричит он с

мелодраматической хрипотцой в голосе. — Если только пощадите меня, расскажу обо всем, обо всех, ничего не скрою. Честное слово офицера!.. Клянусь вам.

— Ну и типус, — делится Вера Петровна своими впечатлениями о Нефедове с Фроловым. — Гадлив, шkodлив, наследил, напакостил, а отвечать не хочет. Другие пусть за него на смерть идут.

— Ради спасения своей шкуры он выдаст кого угодно, и с потрохами даже. Родную мать и ту не пожалеет, — резюмирует Фролов.

— Хватит с нас мелодрамы, Нефедов. Мы сыты по горло вашими заверениями, клятвами, игрой в принципиальность и порядочность. Нам ясно, кто вы и чем занимаетесь. Своей бездарной игрой вы равным счетом ничего не измените.

— Если вы гарантируете мне жизнь, то...

— Мы не покупаем совесть, гарантии не даем.

— Пощадите, смилуйтесь, — почти задыхаясь, перебивает Нефедов. — Я согласен... Я буду говорить.

Истерика подходит к концу. Нефедов начинает рассказывать. Да. Как будто существует что-то вроде заговора. Они (заговорщики) ориентируются на генерала Алексеева. Цель — свергнуть большевиков. Руководство как будто из Москвы. По слухам, организация контактируется с Савинковым. Вот у Савинкова, говорят, целое подполье. Принцип построения организации — «пятерки». Каждая «пятерка» для конспирации связана еще только с двумя. Сам Савинков будто в Москве. Он побрился, носит красные гетры и костюм защитного цвета...

Что касается участников заговора, то тут Нефедов вопреки обещаниям несловоохотлив.

— Я вам все начистоту выложил, — заявляет он.

Вера Петровна усмехается:

— Все это нам известно и без вас, — нарочито подчеркивает она. — Самое главное — кто в заговоре? Говорите, и поскорее. От этого зависит оценка вашего поведения на следствии и вашей искренности.

Но Нефедов позирует: выдавать коллег он, видите ли, не станет, а только будет добросовестно подтверждать, если у него спросят о том или другом участнике, заговора. Он убежден, что это не встретит возражения у следователя. Ведь следователь понимает, что иначе офицер не может поступать. Это «неэтично», «неблагородно».

Но игра в благородство очень скоро кончается. Нефедов называет состав не только своей «пятерки», но и еще двух участников смежных «пятерок». Постепенно Нефедов раскрывает

имена всех известных ему участников заговора.

Нефедов рисуется. На вопрос Олькеницкого он заявляет, что никаких претензий и неудовольствий по поводу своего пребывания под стражей не испытывает; что только теперь он убедился воочию, что разговоры о том, что в чека будто бы «как в ступе толкут» и «шкуры сдирают», — выдумки и враки. На самом деле обращение самое вежливое, внимательное, корректное. Нефедов даже на пищу не в претензии: хотя не очень вкусно, но зато всегда имеется.

Как дворянин и, стало быть, человек интеллигентный, он вовсе не противник Советской власти. Только поначалу как следует не разобрался, и то потому, что всякие поповичи да купчишки, вроде Сергея Сердобольского, с толку сбивали.

Сергей Сердобольский! О нем Нефедов спокойно говорить не может. Сердобольский, в его изображении, и любитель пьяных оргий, и стяжатель, и денег у него куча (золотых, разумеется). Вот кем бы заинтересовалась губчека.

А сам Нефедов, если к нему с душой, с доверием отнестись и дать возможность быть на свободе, он уж постарается: все разузнает, все сообщит. Ведь он тоже из-за куска хлеба служил, в преследовании рабочих и крестьян участия не принимал.

— Я готов вам помочь, только жальтесь надо мной, и я исполню все, что прикажете.

Жалкий, беспомощный Нефедов готов ползать на коленях. Подобострастие Нефедова не вызывает доверия. Такие могут и себе в угоду погубить невинных.

Вера Петровна считает, что офицерская бравада, вера в безнаказанность, водка, разврат, карты — все это разрушило изнутри строго задуманную конспирацию. Заговорщики были излишне откровенны между собой. Они теперь вынуждены выкладывать все, что знают...

Вслед за Нефедовым признается младший Сердобольский, Дмитрий. Он тоже участник заговора, но менее активный, чем брат и Нефедов, поэтому менее информирован.

За Нефедовым и Сердобольским признаются еще некоторые офицеры. Одна «пятерка» тянет за собой другую.

Количество арестованных растет. Рассаживают их в комнатах окружного суда под охраной рабочих-большевиков порохового завода. Держать офицеров в городской тюрьме небезопасно: там некоторые надзиратели сочувствуют заговорщикам.

Следствие продолжается. Другие офицеры тоже заговорили...

— Как скорпионы в банке друг друга поедают, — говорит Вера Петровна.

Но при этом каждый старается выгородить себя. Кое-кто

рисуются. Послушать их: они — сами «революционеры», и с каких пор!

Нефедов совсем разошелся. Ему, вероятно, захотелось вызвать сенсацию. На очередном допросе он заявил:

— Хочу полностью разоружиться. — Нефедов с опаской оглядывается по сторонам и конфиденциально шепчет: — Да, могу сообщить, но только под строгим секретом, имя самого главного руководителя губернской организации. Это генерал Попов, начальник штаба.

С кем блокируется организация? И об этом можно рассказать. Она связана с «Союзом защиты родины и свободы».

Нефедов объясняет, почему он решил все открыть: очень просто. Потому, что к нему подошли с душой, с сочувствием, нашли дорогу к его сердцу.

«Подхалимничает», — думает о нем Вера Петровна.

Все показания Нефедова подлежат проверке. Она приступает к перекрестным очным ставкам. И они не только подтверждают показания Нефедова, но проливают свет и на новые, неизвестные до сих пор обстоятельства.

Оставалось узнать место расположения склада с оружием, предназначенным для восстания.

...За день, полный напряженного труда и забот, Вера Петровна смертельно устала, изнемогла так, что голова клонилась вниз. Ей кажется, что все тело одеревенело и что только маленькая часть головы продолжает еще жить какой-то нереальной, туманной жизнью.

Все разошлись. Часы бьют полночь. Вера Петровна ложится на диван, подкладывая под голову кипы старых газет: это ее постель. Глаза закрыты, но мысли еще шевелятся.

«Что сейчас делает Самуил?^[19] Наверняка тоже на работе. А Маринка? Конечно, спит после бабушкиных сказок. Девочка моя, совсем не видит мать. Завтра же пойду домой и займусь дочерью».

И Вера Петровна забывается тревожным сном.

...Свидание с домашними откладывается на неопределенное время. С утра Вера Петровна опять как белка в колесе. Она с Олькеницким уже успела составить сообщение в губернскую газету «Знамя революции» об обнаруженном контрреволюционном заговоре:

— Губернской комиссией по борьбе с контрреволюцией произведены обыски и аресты, в результате которых добыт ценный фактический материал, указывающий на тесную связь заговорщиков с московскими контрреволюционерами. По окончании следствия будет оглашен имеющийся материал.

Но пока суд да дело, необходимо еще узнать самое главное: местонахождение склада с оружием. Это наверняка содержится в глубокой тайне. Об этом могут знать только доверенные люди. Как их выбрать из этой пестрой публики.

«Генералу Попову бесспорно известно», — думает Вера Петровна. Утром она вызывает его на допрос. Попов оказывается человеком прямым, более покладистым, чем другие заговорщики, рангом пониже. Правда, в первые минуты генерал держится надменно, требует называть его «ваше превосходительство», но все это быстро проходит. Глаза у генерала блекнут, он жалуется на печень, на жену, которая флиртует с молодым офицером, на солдат, которые не отдают чести.

Вера Петровна участливо покачивает головой. Вскоре она приступает к допросу: спрашивает о складах с оружием. Только на мгновение генерал замялся и побагровел, затем, махнув рукой, попросил бумагу.

Он сам изложит грустную историю о неудавшейся попытке организовать безработных офицеров единственно только в целях материальной помощи им.

«Деньги, — говорит генерал, — я собирал у казанских буржуев и спекулянтов и, как ни унижительно было, должен был отчитываться перед ними за каждый истраченный рубль. Только лишь поэтому, — твердит генерал, — я был вынужден покупать оружие, чтобы оправдать получение этих денег».

Так старается генерал представить организацию им склада оружия для восстания, пытаясь скрыть истинное положение вещей.

Сам генерал, по его словам, на складе с оружием никогда не был.

Несмотря на отрицание политической деятельности организации и стремление придать ей самый невинный характер, генерал в то же время правдиво излагает фактическую сторону всех событий, он не пьитися назад, не юлит, не заискивает, как другие. Как человек, далекий от предрассудков, Попов без всяких колебаний называет лицо, ответственное за склад.

— Да, его фамилия Богданов, она известна в городе. Отец Богданова — действительный статский советник, начальник губернской почты и телеграфа. Вы, вероятно, слышали о нем?

Поручик Богданов сидит перед Верой Петровной. Он до того спокоен, у него такая приятная улыбка на губах, что и впрямь подумаешь — сама невинность, не иначе как жертва оговора. Когда Богданов улыбается, то со стороны, непосвященному может показаться, что он не на допросе, а в гостях и мило беседует с дамой и что рядом, в столовой, хорошо сервированный ужин с шампанским. Но только не камера, нет!

— Я ждал не ареста, гражданка начальница, — говорит Богданов с милой улыбкой. Он положил ногу на ногу. — Я ожидал другого...

«Удивительный этот тип, — думает Вера Петровна, — классический актер».

Утром, когда Вера Петровна явилась к нему с ордером и объявила об аресте, Богданов завтракал. Узнав о цели ее прихода, он спокойно наложил на густо намазанный маслом кусок булки икру и отправил его в рот, будто ничего особенного не произошло. Слова «Именем Российской Советской Социалистической Республики вы арестованы» он воспринял с улыбкой и опять-таки не спеша вытер салфеткой губы, прожевал и, встав сказал:

— Я в полном вашем распоряжении. — На его лице не было ни тени волнения.

У Веры Петровны на минуту мелькнула грешная мысль об ошибке. Но тут же она вспомнила слова генерала Попова... Генерал не мальчишка: врать, выдумывать не станет.

...Вера Петровна продолжает допрос.

Слушая ответы Богданова, она все время в упор смотрит ему в глаза.

— Вы офицер?

— Бывший.

— Монархист?

— Совсем даже наоборот.

— Участник заговора?

— Нет.

Богданов бросает на Веру Петровну огненный взгляд и тут же тушит его. Но напрасно, она уже успела заметить в его глазах промелькнувший огонек беспокойства и то, как его длинные ресницы чуть-чуть дрогнули.

Несомненно, что-то неуловимое мелькнуло в эту долю секунды на этом всегда улыбающемся лице. Что-то такое, чего она не могла сразу раскусить. Но чувствуется, что этот офицер с довольно красивым лицом не так уж прост.

О, он далеко не прост! Но Вера твердо знает: как бы глубоко ни прятал свой взгляд Богданов, как бы он ни был хитер, они все

равно разоблачат его.

«Но он бесспорно смелый», — рассуждает сама с собой Вера Петровна. Однако и смелость ему не поможет, как не поможет ему и сверхчеловеческое напряжение, умение держать себя и разыгрывать невинность. Он попался, и говорить ему все равно придется. Дело только во времени. Но время-то не ждет...

Богданов по-прежнему стоит на своем. И снова слышатся стереотипные вопросы и ответы.

Но как только Вера Петровна намекнула на склад с оружием, с Богдановым произошла внезапная перемена. При упоминании о нем он слегка бледнеет, закусывает губу, улыбка исчезает и голос становится мягче.

На удивление, Богданов начинает разглагольствовать, но продолжает держаться с достоинством.

— А вы, оказывается, еще и философ?

— Может быть, по этой причине вы и посадили меня в тюрьму? Бойтесь, что Богданов со своей доктриной окажется конкурентом Марксу?

Богданов продолжает говорить о чем угодно, но, как только снова заходит речь о складе с оружием, взгляд Богданова становится злым.

И вдруг... Неожиданная вспышка гнева, нечеловеческий вопль.словно раненый зверь, вскакивает со стула Богданов, сваливает стол, сшибает стулья и стремглав бросается к двери. Прыжок, еще прыжок, и он... На пороге Корнеев лицом к лицу с Богдановым. Корнеев вежливо берет Богданова под руку и усаживает на место, затем подает ему стакан воды.

— Запомните, меня величают Евгением Михайловичем. Я таких шуток смерть как не люблю, — говорит Корнеев.

Отныне все допросы Богданова проходят при обязательном участии Корнеева, один вид которого действует на Богданова магически. Но иногда Богданов снова ревет. От вопросов он по-прежнему ускользает, хитрит, лавирует, а когда его припирают к стенке, упорно молчит. Он то цинично, нагло заглядывает в лицо своему следователю, то вдруг начинает заискивать.

Существование склада с оружием Богданов теперь уже не отрицает.

— Да, есть какой-то склад. Убей меня бог, если я знаю где...

Уличенный во лжи, Богданов ссылается на плохую память, а если и это не помогает, то зовет на выручку воинскую честь.

— Я русский офицер, я присягал своему царю и отечеству верно служить и хранить военную тайну.

Помогает генерал Попов. Глядя в глаза Веры Петровны, он говорит своим старческим дребезжащим голосом:

— Давайте мне сюда поручика. Увидите, он не посмеет послушаться.

«В качестве опыта можно попытаться», — решает Вера Петровна.

Богданов доставлен на очную ставку. Он стоит, руки по швам, сесть упорно отказывается.

— Не положено при его превосходительстве сидеть.

Генерал хмурит брови, затем отчеканивает:

— Поручик, немедленно сдайте склад с оружием...

Богданову, как видно, только это и требовалось. Он называет адрес склада...

* * *

Больше Богданов ничего не сказал. Он не добавил ни одного слова, не произнес ни звука, словно этот разыскиваемый склад оружия лежит себе спокойно у всех на виду, только и дожидается, как бы за ним пришли из губчека.

«Что за черт! — думает Вера Петровна. — Знакомый адрес. Конечно, знакомый. Это же тот самый двор с привидениями, с подозрительно прячущимся Алексеем Мотковым, купеческий особняк, брошенный хозяевами на произвол судьбы.

Дом уже раз обыскивали, — вспоминает Вера Петровна. — Но тогда решительно ничего не обнаружили. Без помощи самого Богданова тут не обойтись. Придется «их благородие» побеспокоить и использовать в качестве проводника. Пускай сам показывает «плоды своих трудов».

...Ранним утром на улицах города редкие прохожие с удивлением наблюдали оригинальный эскорт: пролетку, окруженную пешими красноармейцами с ружьями наперевес. В пролетке — довольно интеллигентная дама в солдатской гимнастерке и двое мужчин, из которых один, по-видимому, арестованный. В этом арестованном нетрудно было признать бывшего офицера.

— Во избежание всякой волокиты мы везем вас, Богданов, на место. Сами покажете, где и что прятали.

В ответ Богданов улыбается, а после паузы произносит:

— В слуги к вам наниматься не собираюсь.

— И долго вы еще думаете куражиться?

— Пока не надоест, — нагло отрезает Богданов и добавляет: — И вообще учтите, я долго оставаться у вас не намерен.

— Надеетесь бежать, — вмешивается Корнеев.

— Дату побега и точное время я непременно согласую с вами, — при этом Богданов поворачивается к Корнееву и с издевкой останавливает на нем свой взгляд.

— Оставьте, господин Богданов, демагогию. Лучше ведите нас, — тоном, не терпящим возражений, приказывает Вера Петровна.

Скрипнув зубами, Богданов сходит с пролетки и двигается к дому. Миновав прихожую и захламленный коридор, вошли в комнатку, видимо служившую для прислуги. Снова коридор. Наконец оказались на кухне. Отсюда начинается ход в погреб.

Стали спускаться. Только прошли несколько ступенек, как вдруг Богданов пришел в неистовство, стал дерзить, ругаться и дальше идти отказался наотрез.

— Делайте со мной что хотите, — истерически кричал он.

Тогда вперед вышел Корнеев. Молча, отеснив в сторону Богданова, он решительно начал спускаться вниз. Корнеев всегда, когда требует обстановка, становится твердым, до «чертиков» решительным.

Вера Петровна следует за ним: площадка, ступеньки, снова площадка и опять лестница. Корнеев торопится.

— Осторожнее, — предупреждает его Вера Петровна.

Но Корнеев продолжает спешить. Несмотря на крошечную тьму, он несется вперед. Наконец остановился... Вера Петровна зажигает спичку: дальше хода нет. Что-то звякнуло в полу. В каменной плите — железное кольцо. Корнеев напрягается изо всех сил. Плита поднята. Снова ход.

И вдруг — крик. Корнеев нелепо размахивает рукой. Это Богданов, пробравшись, ухитрился укусить его за руку. На Богданова наваливаются, его оттаскивают в сторону. Но он сопротивляется, не дается, визжит и вдруг... вырывается. Скачок, еще скачок — и Богданов прыгает в открытый люк.

— Ну и собака! — вырывается у Веры Петровны.

Мгновение — и она тоже прыгает вслед. Удар от падения почти не ощутим: на полу солома. А вокруг сплошная тьма — слышно только тяжелое дыхание Богданова.

Внезапно вспыхнул огонь. Это Богданов зажег спичку. Чудовищные уродливые тени колеблются на стенах и потолке. У одной стены стеллажи. На них и на полу винтовки, гранаты, ящики с патронами. Снова темнота. Слышно, как Богданов приближается.

«Как обезвредить его? Стрелять? Рискованно: все взлетит к черту».

Богданов бормочет, голос как у обезумевшего. Снова загорается спичка, и сразу, как порох, вспыхивает солома.

Прежде чем Вера Петровна успевает опомниться, кто-то сверху прыгает прямо на огонь и тушит его своим телом. Снова мрак и выкрики, стоны, ругательства. Сверху спускают фонарь. Вера Петровна подбирается к плотно сцепившимся телам и оттаскивает Богданова.

— Веревку сюда... Скорее! — кричит она.

Богданов связан. Даже при скудном освещении в глаза бросается мертвенная бледность его лица и кривящийся в ужимках рот.

— Водички дать?

Богданов пожал плечами и весь затрясся.

Вскоре Богданов снова на допросе. Он тупо смотрит в одну точку. В голове ни единой мысли.

— Надеюсь, после вчерашнего променада вы образумились? — обращается к Богданову Вера Петровна.

Богданов только вскидывает глаза и молчит.

— Молчание, господин Богданов, не поможет вам. Такой способ самозащиты никому еще не помогал, — продолжает Вера Петровна.

Допрашиваемый пожимает плечами и продолжает безмолвствовать.

«Ну и негодяй! Как заставить его быть откровенным, хоть немного? Для этого требуется время. А пока надо искать другие, более слабые звенья в этой цепи».

* * *

Вера Петровна выглядит утомленной. Под глазами чернота. Гимнастерка висит на ней как на вешалке. Только лихорадочно блестящие глаза говорят о твердой воле, непоколебимой, безграничной вере в победу революции.

«Нужно воспитывать в себе терпение и выдержку, тогда можно добиться результатов», — думает она про себя.

Терпению она научена. Тюремная наука пришлась кстати. И выдержки ей не занимать. Так считают все окружающие, в том числе и Олькеницкий.

Кроме защиты революции, Вера Петровна ничем не интересуется. Театр? Нет. Сейчас он ее не привлекает. Развлечения теперь ей ни к чему...

«Революционер должен думать и заниматься только революцией. Все остальное, что мешает сейчас, — вредно!» — это ее лозунг.

Сон и еда — неприятная необходимость, о которой

вспоминаешь тогда, когда силы почти иссякают и голова клонится вниз.

Она знает: враги считают ее суровой, беспощадной. Пускай. Разве за ее суровостью скрывается злоба? Нет. Она любит людей.

Верно, к буржуазии, к помещикам, к золотопогонникам у нее ненависть.

Пусть боятся враги революции ее взгляда, пусть дрожат, когда она надолго останавливает свой взгляд на них, забывая отвести его.

— Не прикидывайтесь раскаявшимся, нас не проведете. Не на тех напали, — сказал Олькеницкий вызванному на допрос Нефедову.

Тот стал божиться и доказывать, что всему виной Брауде. Взгляд и глаза следовательницы буквально парализуют его каждый раз, когда он собирается рассказать что-либо важное. Только поэтому он забыл сообщить, что казанское подполье не изолировано. Оно связано с Москвой и с другими городами.

Цель организации, по словам Нефедова, — установить порядок в России и продолжать войну с Германией. Организация генерала Алексеева — большая, крепкая. Она готовит восстание.

— Вот так-с... Савинков в Москве... Он засылает людей, готовит одновременный удар.

* * *

Из Москвы прибыла шифрованная телеграмма. В ней говорилось, что ВЧК в Москве раскрыла белогвардейскую организацию, состоящую из офицеров и эсеров, — так называемый «Союз защиты родины и свободы».

При обыске были изъяты компрометирующие документы, в том числе платформа, отпечатанная на машинке, схема построения организации и явки в городе Казани.

На следствии выяснилось, что сначала заговорщики намеревались захватить Москву, а потом уже распространить восстание дальше, но, чувствуя, что Москву им не одолеть, решили начать с Казани. Сюда они перебросили уже около пятисот кадровых офицеров.

Белогвардейцы намеревались приурочить восстание к ожидающемуся выступлению англо-французских союзников.

В телеграмме еще указывалось, что Казань привлекает белых тем, что в сейфах Казанского отделения Госбанка хранится золотой запас Советского государства.

Из текста шифровки следовало также, что организация

связана с иностранными посольствами и получает от них субсидии.

Когда Олькеницкий зашел в накуренную комнату, где сидела Вера Петровна, часы пробили полночь.

Олькеницкий молча положил перед Верой телеграмму. Также молча подставила Вера Петровна Гиршу стул и стала читать.

— Нужно сейчас же позвонить Ф. Э. Дзержинскому и проинформировать ВЧК о наших данных! — сказал Олькеницкий.

— Обязательно нужно спросить Феликса Эдмундовича, что нам делать дальше.

Олькеницкий покрутил ручку полевого аппарата, назвал пароль и заказал Москву. Через несколько минут раздался звонок. Олькеницкий взял трубку.

— Товарищ Дзержинский у аппарата, — доложил телефонист.

— Тише, — замахал рукой на входившего в комнату Корнеева Олькеницкий.

Наконец он услышал далекий голос. Он принадлежал председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Эдмундовичу.

Волнуясь, немного повторяясь, Олькеницкий докладывал...

Дзержинский уточняет, ставит вопросы, поддакивает...

В трубке досадное щелканье и гудение. Это мешает разговору. Дзержинский начинает раздельно повторять каждое слово, переспрашивает, понятно ли...

— Ваши сведения важны, — подчеркивает Феликс Эдмундович. — Они лишний раз подтверждают данные, имеющиеся в распоряжении ВЧК. Хорошо, что вы приступили к разгрому подполья, но смотрите, чтобы в тюрьму попали только те, кто действительно заслуживает этого, кто опасен для Советской власти, для революции. Мобилизуйте партийцев и сочувствующих, способных носить оружие. Будьте начеку. Работа предстоит адская. Мы — солдаты, и жизнь у нас должна быть солдатская, без отдыха, ибо нужно спасать наш дом. При этом нужно помнить, что сердце в этой борьбе должно оставаться живым, человеческим.

Кстати, что представляет собой контингент арестованных?

— Сплошь офицеры, дворяне, поповичи, купеческие сынки...

— Первый вопрос, который вы должны предлагать подозреваемым, к какому классу они принадлежат. Но это еще не все. Тщательно проверяйте виновность каждого, не допускайте ареста невинных. Защита революции должна сочетаться с интересами отдельных лиц. Наряду с тем, что мы разим врага, мы строго должны наблюдать, чтобы наш меч случайно не пришелся по головам невинных. Учтите, это недопустимо.

Да, вот еще что. «Человек в красных гетрах» (так условно называл Савинкова Ф. Э. Дзержинский) имеет в Казани связь с неким Винокуровым. Мы располагаем явкой и паролем к нему. К вам выезжает ответственный товарищ, помогите ему.

Феликс Эдмундович желает успеха в работе, просит держать ВЧК в курсе событий.

* * *

— Ты знаешь Винокурова? — интересуется Олькеницкий.

Боже мой! Ей ли не знать своего бывшего учителя географии, того самого, что с удовольствием выгнал ее с урока в Котовской гимназии.

После Февральской революции Винокуров, ко всеобщему изумлению, записался в эсеры и оказался вдруг казначеем правозсеровского комитета.

Перед глазами Веры Петровны встает образ сладкого интеллигента: бородка клинышком, широко открытые бесцветно-наивные глазки, вьющиеся кудряшки, обрамляющие его лобик.

Винокуров и... подполье. Винокуров и... борьба, Винокуров и... риск. Нет, в Верином сознании не укладывается представление о связи этого упитанного человека с нелегальной боевой организацией.

— Это не подпольщик, — говорит она приехавшему из Москвы уполномоченному ВЧК товарищу Семенову в присутствии Олькеницкого. — Уж если и знаменит господин учитель, то как сердцеед, как дамский угодник. Но херувим в роли демона — это непостижимо! В это просто трудно поверить.

Но Семенов непоколебим. Он стоит на своем. Ведь в его распоряжении неопровержимые улики: явка, пароль — вырезанная визитная карточка, совпадение вырезов — пропуск, почти как у масонов.

Винокуров живет в самом центре города. У него собственный домик, старый, небольшой, с традиционным палисадничком, деревьями, декоративными растениями, голубенькими ставенками, под стать самому хозяину. Домик стоит на пригорке, к нему ведут каменные ступеньки с перилами, увитыми плющом.

Прищурив глаза, Олькеницкий острит: «Люблю я эти крымские виды. Чем не ливадийский дворец? Дикий виноград... Только каменных львов не хватает».

Со стороны дом как будто необитаем, по крайней мере днем. Зато, когда солнце садится, он оживает: светятся щели в ставнях,

многие люди приходят и уходят.

— Как туда проникнуть, никого не вспугнув, не вызвав подозрения? — спрашивает Семенов.

— Хорошо бы разведку сделать сначала, — отвечает Вера Петровна, делая длинную затяжку самосадом, отчего Олькеницкий морщится и кашляет. — Но как, под каким предлогом?

— Давайте изобретайте, — предлагает Олькеницкий.

— Электропровода перерезать, под видом монтера человека подослать, — предлагает обычно молчаливый Корнеев и продолжает: — Кого-либо из своих парней, чтобы он инструмент с собой прихватил, по столбам полазил у окружающих на глазах, потом домики по порядку обошел бы и, конечно, к Винокуровым заглянул бы. Нельзя же хороших людей забывать, — с усмешкой заканчивает он.

* * *

Дмитрий Копко^[20] вернулся в город поздно ночью, совершенно измотанный. Путь от «Раифской пустыни» до Казани он проделал на лошадях и пешком. Ни минуты не отдохнув, только переодевшись, он бросился в губчека.

— Кто бы, вы думали, стал теперь, после ареста генерала Попова, во главе офицерского движения? — спрашивает Дмитрий своих слушателей: Олькеницкого, Веру Петровну, Фролова и Семенова. И после многозначительной паузы продолжает: — Не догадаетесь, и не пытайтесь... Его преосвященство!

Вера Петровна сомневается, трудно поверить в это сообщение.

— Да, да. Сам архиепископ Андрей — князь Ухтомский, — на титуле Дмитрий акцентирует для большей убедительности. Лукаво улыбаясь, он тут же добавляет: — Святой отец далеко не глуп, для безопасности он со всем скарбом перебрался в «Раифскую пустынь». Как ни говорите, там легче отсидеться. Не один он там. Монахи укрыли многих участников заговора. Поручик Сердобольский тоже в обители. Он сейчас вдвойне ненавидит советский строй и готов участвовать в любых заговорах, он пойдет на любой риск. А у его преосвященства он — правая рука.

Святой отец — человек преоригинальнейший, говорит, что по-прежнему за всех богу молится. Я его спрашиваю: «И за большевиков и комиссаров, ваше преосвященство?» Он отвечает: «И за большевиков и комиссаров я тоже всевышнему молитвы

возношу, чтобы он их поскорее к себе прибрал». У него целая теория — как при помощи бога избавиться от большевистской заразы. Никого из уезжающих на Дон он без своего напутствия не отпускает. Вознося свои взоры к небесам, отец Андрей с горечью молит вслух: «Вот привел бы господь меня видеть, как большевиков уничтожают». Крестьянам, что живут вокруг «Раифской пустыни», архиепископ внушает, что при царе мужикам было хорошо, сытно, все дешево, а при антихристах — большевиках народ последние крохи доедает.

Все сосредоточенно, не перебивая, слушают Дмитрия и одновременно продумывают план действий.

Всем ясно, что после начавшихся арестов, испугавшись реальной силы большевиков, многие золотопогонники перебазировались в монастырь и оттуда продолжают вести работу.

— Я полагаю, — начинает Олькеницкий, — его преосвященство избрало резиденцией «Раифскую пустынь» не случайно, там у них целая крепость. И настоятель свой.

— Это тот самый, который женолюбием и стяжательством отличается, — уточняет Дмитрий.

— Об этом попике и я наслышан, — вставляет Фролов.

— Черт с ними, с их страстишками, — перебивает Вера Петровна, — это нас сейчас мало интересует. Лучше подумайте над тем, как в эту «крепость» пробраться и всю публику, оставшуюся там, захватить. Я предлагаю такой план, конечно в общих чертах: направить туда отряд вооруженных товарищей во главе с Дмитрием, тем более он только оттуда: как-никак «в гостях» у них побывал. Пускай произведут обыск и арестуют Сердобольского и других, самых активных. А архиепископа пока просто так привезут в город, чтобы он у нас на глазах находился. А дальше — видно будет.

— Правильно, — резюмирует Олькеницкий.

Решение принято. Начали действовать.

* * *

Пристально вглядывается Вера Петровна в ночное небо, настороженно прислушивается она к каждому звуку, ожидая, что вот-вот раздастся цокот копыт по булыжнику и возвратится запропастившийся отряд во главе с Дмитрием Копко, направленный в «Раифскую пустынь».

Вот уже пять дней, как уехали чекисты в монастырь, а сведений о них все нет и нет. Вера Петровна медленно ходит по

комнате. Она не может найти себе места. О сне не может быть и речи. Тяжелые предчувствия гнетут ее. А жизнь идет своим чередом. Часы отстукивают секунды, минуты.

Под утро она забывается, впадает в какое-то оцепенение, положив голову на стол.

В начале седьмого в комнату влетел Корнеев. За ним нерешительно ввалился старичок в лаптях, на которые налипла грязь. Его холщовая рубаша была пропитана потом и грязью.

— Погибли они, братцы, — перекрестившись, не успев отдышаться, произнес вошедший.

Через несколько минут толпившиеся в дверях чекисты и прибывший Олькеницкий узнали подробности гибели товарищей.

Все понимали, что означает смерть от рук озверевших фанатиков.

...Приехав в монастырь поздно вечером, отряд с разрешения настоятеля был помещен на ночлег в монастырской гостинице. Пока изрядно уставшие товарищи спали, монахи их связали и передали на самосуд толпе, состоящей из местных кулаков и их подпевал, которым монахи представили отряд губчека как бандитов, явившихся для ограбления монастыря и надругательства над святынями.

Озверевшая толпа, подстрекаемая христолобивым воинством, убила красноармейцев и сожгла живыми Дмитрия Копко и Лавриновича.

Нет больше Мити — голубоглазого смелого бойца и товарища. Не сохранились даже его останки, которые можно было бы предать земле. Еще несколько молодых жизней были отданы революции во имя ее защиты и победы...

В ответ на зверскую расправу в пятницу 7 июня (25 мая) 1918 года в губернской газете «Знамя революции» было опубликовано сообщение:

«Губернской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией при губернском Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов расстреляны Богданов А. А. и Нефедов В. А. — бывшие офицеры, участники белогвардейского заговора против Советской власти.

Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией».

Кое-кому из работников губчека эта мера показалась недостаточной. На очередном заседании губчека слово взял Нюмин. Как всегда, он начинает с демагогического вступления:

— Мы не можем допустить, — говорит он, — чтобы наши передовые товарищи умирали от злодейских, грязных рук наймитов контрреволюции. Причина их гибели — это мещанская идеология кое-кого из руководителей губчека.

— Ньюмин, что вы хотите? — ледяным голосом обрывает его Олькеницкий. — Что конкретно предлагаете?

— Я повторяю, гибель наших товарищей — это результат вашего благодушия и либерализма!.. А ведь из-за этого погибли лучшие наши товарищи... Кто же виноват? Вы, — ехидно бросает он в сторону Олькеницкого и Брауде.

— Почему, например, Богданова, который пытался нас взорвать, вы не мотали как следует, не добились от него сведений и адресов всех участников организации? Вместо этого вы его мирно допрашивали, — почти кричит Ньюмин. Его глаза становятся прозрачными. — Я скажу прямо, — истерически выкрикивает он, — вы не отделались от мещанской идеологии. Довольно мягкотелости!!! Врагов всех до единого нужно отправить на тот свет. А вы расстреляли двоих и думаете, что спасли революцию...

— Вы снова за свое, — перебивает Ньюмина Олькеницкий. Он говорит, словно рубит топором, не глядя на Ньюмина: — Ваши слова — дешевая демагогия, рассчитанная не неврастеников, а предлагаемые вами меры — по существу авантюрные. Нет, большевики не пойдут по пути авантюры.

...Около полуночи отряд чекистов, рабочих порохового завода, бойцов интернационального батальона, в общей сложности около 200 человек, отправился в путь. Ноги лошадей обмотаны тряпками, так что топота совсем не слышно. Ехали степью, затем углубились в хвойный лес. Деревни объезжали, сворачивая с дороги. На рассвете лес наполнился веселым птичьим гомоном. Ничто, казалось, не предвещало особых событий. Не доезжая примерно версты до места назначения, спешили. Теперь коней вели под уздцы. Посланные разведчики быстро вернулись. Вместе с ними пришел монастырский послушник. Выяснилось, что настоятель монастыря и все его сиятельные гости успели удрать. Их и след простыл.

* * *

Дверь монтеру открыла женщина.

— Проводку проверить, — заявил вошедший.

— Проходите. Свет и тот не могут в порядке держать. — Голос тещи был полон ненависти.

— Маман! — За спиной монтера раздался бархатный голосок, и на пороге показалась хозяйка дома в капоте и шлепанцах. — Не расстраивайтесь, пожалуйста, ведь гражданин механик тут ни при чем.

— А я и говорю про их порядки. Не учи!

Дочь не дала распространяться «вредной старушке», как окрестил ее монтер, и поспешила увести ее из гостиной.

Стройная блондинка провела электромонтера по дому. Комнаты были обыкновенные, ничем не примечательные. Дом как дом. Разве только картин, посуды, икон и мебели много.

— А так — ничего подозрительного. Все нормально, — докладывал монтер.

И еще загадочнее стал особняк.

Дом Винокурова окружен, но из его обитателей никто не знает об этом. По-прежнему светятся щели в голубых ставенках.

Откуда-то издалека доносятся обрывки разговоров, шаги прохожих, топот копыт. А тут все тихо... Показалось? Просто скатился камешек. Тишина... Померещилось? Нет. Слышатся осторожные шаги. Сыплется песок. Кто-то идет. Вот он — силуэт мужчины. Крадется как кошка. Луна, как назло, скрылась за тучами. Снова все погрузилось в мрак. Кто же он?

Мужчина словно замер. Стоит притаившись и чего-то выжидая. «Следят?» Нет. Все спокойно. Стараясь не шуметь, он выходит из укрытия, поднимается по ступенькам. Рука в кармане. Трижды, с паузами, тянет он ручку звонка. На мгновение широкая полоса света ослепляет находящихся снаружи. Дверь захлопнута.

Опять тишина...

...На кушетке, забросив руки за голову, в мечтательной позе лежит полураздетый хозяин. Но его лицо злое, ненавидящее.

Рядом юноша с орлиным носом и красивыми соболиными бровями. Он курит, глубоко затягиваясь и рисуя дымом узоры. Это занятие, по-видимому, нравится ему.

— Бросьте хандрить, — говорит он хозяину. Тон у него покровительственный.

В ответ хозяин сердито сопит. «Этот Ольгин — самоуверенный тип. О господи, как он мне надоел и как противен. И откуда такая амбиция? Форменное ничтожество с красивым лицом. «Французик», противный комедиант, — готово сорваться с уст Винокурова. — Пажеский корпус, — передразнивает он в уме ольгинскую манеру разговаривать. — Наобещал, насулил горы, а пока только риск и муки неизвестности».

— Знаете, Ольгин, я не могу больше, не могу. Либо что-то делать, либо закругляться, кончать. Одно из двух: «или пан, или

пропал».

— Друг мой, старайтесь ни о чем не думать. Не расстраивайте свое драгоценное здоровье. Рекомендую побольше пить, налегайте на спиритус ректификатис: прекрасное средство от тоски. Это у вас, вероятно, на почве сплина или несварения желудка.

От этих слов Винокуров морщится, как от зубной боли.

— Благодарю за заботу и совет, — говорит Винокуров и тянет руку к граненому стакану. Он пьет большими глотками, захлебывается. Гость тоже поднимает стакан. Ольгин с удовольствием чмокает губами и жмурится, как плотно наевшийся кот. «Сейчас еще замурлыкает», — возмущается про себя хозяин.

— Боже мой, как все надоело, опротивело, — говорит он, ни к кому не обращаясь.

— Жаль, жаль, — отвечает Ольгин.

— Чего жаль? — учитель географии просто задыхается от злости. — Вот возьму и все брошу к чертовой матери. По-моему, там у вас в Москве с ума спятили. Нынче с утра я ходил по вашему предложению на Посадскую. С трудом отыскал хозяина. На вопрос, где Христофор, получил озлобленный ответ: не знаю. А сегодняшний номер? Что это за телеграмма о «подмоченной» бочке? А? Тоже мне конспираторы нашлись. Все делается шиворот-навыворот, специально так, чтобы ищеек на след навести. А губчека, между прочим, не дремлет...

Ольгин внимательно смотрит на собеседника, но ничего не отвечает.

Снова тишина. Каждый занят своими мыслями.

Звонок. Кто бы это, ночью? Собеседники переглядываются. Хозяин встает и нетвердой походкой направляется к двери, чтобы через щель разглядеть непрошеного гостя, а может быть, и гостей. Сердце тревожно щемит.

Нет, один.

А вдруг где-то там, под лестницей, другие?.. Чекисты?..

...На пороге хорошо одетый, интеллигентный человек. У него обворожительная улыбка, открывающая два ряда ослепительно белых зубов, ямочки на щеках и изысканные манеры. Он извиняется за ночное вторжение, делает комплименты хозяйке, хвалит вот эту икону и... ни слова о цели визита.

Винокуров и Ольгин незаметно переглядываются.

— Я из Самары, проездом. Имею для вас, господин Винокуров, привет от Серафима Константиновича, — говорит незнакомец, усаживаясь поудобнее в кресле.

— Он велел устно кланяться или чего-либо рукой начертал?

— И рукой тоже.

Это условности. Они предшествуют предъявлению визитки. Края сошлись. Все в порядке. Все трое облегченно вздыхают.

Наконец-то привет из штаба.

Савинковского посланца принимают с распростертыми объятиями. Дом оживает. Хозяйка и теща суетятся, принимаются за стряпню.

— Маман, лучше достаньте столовое серебро, и идите себе спать, — шепчет дочь.

А в тиши кабинета идет деловая, сугубо доверительная беседа.

— Пожалуйста к столу, — приветливо улыбаясь, приглашает хозяйка.

— О, совсем как в доброе старое время, как будто и нет голодного 1918 года, — говорит приезжий.

За столом беседа не прерывается. Эмиссар внимательно слушает доклад. Отчет самый подробный. Ольгин и Винокуров в ударе. Каждый демонстрирует свою осведомленность, каждый хочет показать себя в лучшем свете.

Приезжий интересуется всем: кадрами подполья, местами хранения оружия, связями в городе, губернии и других городах. Он требует ввести его в курс дела, дальнейших планов городских, губернских и других, известных им филиалов.

— Каждая пядь земли становится опасной, — замечает Винокуров.

— О, это ужасно. Но насколько основательны ваши опасения?

— В Чистопольском уезде провал. Арестован руководитель местной пятерки, поручик.

— Причина провала?

— Пока не установлена.

— Грустно. Нужно выяснить. Кстати, этот арест опасен и для людей в городе. Поручик был с кем-либо связан здесь?

— Прошу прощения, — вмешивается в разговор Ольгин, — никакой угрозы и опасности нет. Все филиалы в отличном состоянии и полном порядке. За последнее время значительно пополнились людьми. Ведем работу в гарнизоне, кое-где связались с крестьянами. Удалось даже получить оружие на гарнизонном складе: там тоже свои люди.

— Телеграф, телефонная станция и железная дорога обеспечены людьми? — интересуется эмиссар.

— Да, всюду есть свои люди. Все ждут не дождутся сигнала.

«Дотошный эмиссар, — думает Винокуров, — опытный, видно. Хотя неопытного сюда и не пошлют, — внушает он себе. — Во все отверстия лезет. Почтище любого ревизора. Еще финансами

займется». Этого хозяину как раз и не хотелось бы. Сам того не замечая, он не делал большой разницы между своими деньгами и средствами организации. «А что, если эмиссар действительно заинтересуется финансами?»

Винокуров пытается увести гостя в сторону, отвлечь, заговорить. Он уточняет фамилии, дает характеристики членам организации, обрисовывает роль каждого, строит смелые гипотезы и говорит, говорит без конца.

Эмиссар охотно отвечает на вопросы. Он тоже демонстрирует свою осведомленность.

«Сразу чувствуется — не простой человек. Хорошо информирован о делах центра», — думает Ольгин.

Эмиссар дает советы, указания.

Приезжий поднялся. Поблагодарил любезную хозяйку, ее супруга, всех присутствующих за прием.

— А почему у вас так душно? — Не дожидаясь ответа, отодвинул ставню и приоткрыл окно.

Легкий ветерок пронесся по гостиной. Эмиссар облокотился на подоконник.

...Как замороженные смотрят на темное окно Олькеницкий, Вера Петровна, Фролов и рабочие порохового завода, мобилизованные на эту ответственную операцию.

Сколько прошло времени? Что там? Ожидание становится невыносимым. Каждый звук, дуновение ветерка заставляют вздрагивать, напрягаться... Скоро?

...Окно с шумом распахнулось. На остолбеневших хозяев глянули дула винтовок и маузеров.

— Руки вверх! — Это уже не тот гость. Исчезли ямочки, пропала любезность, очарование, светскость. «Господина эмиссара» как не бывало.

В квартиру предводительствуемые Олькеницким и Верой Петровной входят коммунисты и комсомолцы.

— Разрешите представиться, — обращается гость к «гостеприимным хозяевам». — От имени и по поручению ВЧК объявляю: вы арестованы!

Ольгин старается казаться спокойным и, несмотря на прыгающее веко, говорит:

— Господа, поздравляю с блестящей операцией. Искренне поражен вашей работой. Ловко получилось. Не ожидал.

...Деятели савинковской организации, связанные с военно-офицерским заговором, все еще посещают этот во всех отношениях приятный дом. Их любезно принимает сам хозяин господин Винокуров и его ближайший... «помощник», бывший «господин эмиссар» товарищ Семенов.

Гости, как правило, словоохотливы и подробно рассказывают о новостях и явках.

Ничто не изменилось в этом доме, разве только нет хозяйки и «маман». Но и они, «слава богу», живы и здоровы, сидят в чека вместо господина Винокурова в качестве заложников. Любящий муж сам предложил такой удобный вариант.

...В один из летних темных вечеров в доме Винокурова раздался условный звонок.

— Прикажете открыть? — услужливо спросил хозяин.

— Конечно, это ваш дом. Только меньше суетливости.

В комнату вошла полная дама.

— Валентина Владимировна, вы даже не представляете себе, как я рад вас видеть. Какой сюрприз, — захлебываясь не то от радости, не то от волнения, говорит Винокуров. — Прошу простить, я не представил вам моего друга господина Семенова.

Валентина Владимировна протянула руку и внимательно взглянула на него.

«Очень мил, молод, красив и хорошо воспитан», — думает дама.

«Но с чем ты приехала? Так просто тебя не пошлют», — думает Семенов. Он уже много слышал о Валентине Владимировне Никитиной^[21] — доверенном лице Савинкова. Она пользуется большими полномочиями и правами. Валентина Владимировна — разъездной курьер центра организации. Она готовит заговоры, расставляет людей, развозит директивы, деньги, валюту, ценности.

Пока хозяин готовит стол, Семенов «информирует» и осторожно прощупывает мадам. Она говорит скупой, присматривается.

— А почему нет Ольгина? Ведь ему запрещалось отлучаться из города.

— Он болен. Сюда водить врачей рискованно. Ольгин хорошо устроен.

Нет, ей сегодня явно не по себе. Она чем-то встревожена. Женская интуиция сильнее мужской. Не нравится ей здесь. Винокуров все это отлично видит, понимает и знаками показывает Семенову.

— Что в Москве? — как ни в чем не бывало спрашивает Семенов.

— Ничего заслуживающего внимания. Я хочу вас послушать. Итак...

«Игра не стоит свеч, — решает Семенов. — Эта не из болтливых».

— Итак... я — следователь ВЧК.

Никитина широко открыла глаза и упала в обморок.

— Вера Петровна, — зовет Семенов, — поухаживайте за «больной».

— Это можно.

Приведение в чувство начинается с личного обыска арестованной.

— Сие имеет психотерапевтическое воздействие, — поясняет Вера Петровна.

Придя в себя, Никитина начинает плакать. В этот день у нее нельзя было добиться ни слова. А назавтра она стала жаловаться на незаконность ареста.

— Что за народ пошел, — удивлялся Корнеев. — Когда объявили об аресте, она о законе не вспомнила, только куда-то все просилась. А теперь вновь расхрипалась.

— На каком основании меня обыскивали, — возмущается Валентина Владимировна. — Как вам, женщине, не стыдно рыться в чужом белье, — набрасывается она на Веру Петровну. — Грязно, мерзко.

— Что вы усматриваете здесь грязного? — смеется Вера Петровна. — Я нашла в вашем белье целый склад: бриллианты, валюту и в довершение к этой коллекции — шифрованное письмо Савинкова. Вы это называете грязью?

Никитина вне себя. Карта ее бита.

— Допрашивать людей вам тоже не совестно?

Вера Петровна простодушно признается:

— Нет, не совестно.

— Но это же насилие над человеческой волей. В конце концов я женщина.

— С каких пор вы, эсеры и меньшевики, в толстовцы записались? Давно ли ордер на арест Ленина подписывали? Мало ли большевиков в июле прошлого года в тюрьмы пересажали? Это как назвать? Хватит болтовни. Помните, говорить только правду! Слышите?

Никитина не знает, что ответить.

— Вы должны говорить только правду.

И Никитина начинает давать показания.

* * *

Подолгу сидела Вера Петровна с монастырским послушником, доставленным из «Раифской пустыни», стараясь узнать у него местонахождение поручика Сердобольского. Тщетно билась она. Послушник, хоть и был польщен вниманием к своей

особе, все ж язык держал за зубами. Уж как ни старалась Вера Петровна, с какой стороны ни подходила, а у послушника на все вопросы один ответ: не знаю, не ведаю.

— Ну а где, по вашему мнению, мог бы он скрываться?

— Вы бы с самого начала так и спросили. Предположение имею.

Вера Петровна разложила перед послушником план Казани с пригородами. Допрашиваемый быстро сориентировался. Ноготь указательного пальца замер как раз на том месте, где были обозначены домишки с палисадничками.

И вдруг произошло непредвиденное: послушник робко попросил Веру Петровну доверить ему самому выяснение всего «касающегося господина поручика».

Как быть? Рискнуть? Вера Петровна решила произвести психологический эксперимент. Послушник пойдет по знакомому адресу. Если Сердобольский там, то он незаметно, как представится возможность, ускользнет оттуда и под вечер явится к Державинскому саду. Послушник был отпущен.

Вера Петровна не сомневалась в том, что послушник явится, Фролов не разделял ее оптимизма, а Олькеницкий с философским спокойствием изрекал: «Поживем — увидим».

...Медленно, стараясь быть незамеченным, движется послушник по Державинскому саду. Сюда он проник не через ворота, но путь держит к выходу. Здесь у него условленное место встречи с Верой Петровной. Наконец-то из-за деревьев появляется женская фигура. Происходит короткий разговор. Да, Сердобольский там.

Этот пригородный район — самый беспокойный в Казани. О нем худая слава. Дома тут разбросаны словно острова в море. Мало кто из горожан хорошо знает этот район.

...Грузовик затарахтел и смолк. Люди молча соскочили и цепочкой двинулись вперед. Пробираясь в изломах заборов, они шли долго, молча, держа винтовки наперевес. Впереди Вера Петровна и Фролов. Минут двадцать продолжался этот поход, пока не подошли к двухэтажному покосившемуся зданию. Из дома не доносилось ни звука. У дверей молча остановились.

Держа наганы наготове, Вера Петровна с Фроловым шагнули в дом. В коридоре темно, пахнет прелым. Двигаясь на ощупь, они ищут третью дверь слева, ту, где должен быть он...

Наконец нащупана дверная ручка. Вера Петровна с силой тянет ее на себя. Дверь распахнута... Полутемная большая комната, киот во всю стену, освещенный лампадкой, стол, топчан. На топчане свернувшаяся мужская фигура.

Не успела Вера Петровна произнести и звука, раздался

выстрел. Вспышка осветила вскочившего Сергея Сердобольского. Вера Петровна отпрянула назад. Нажим на собачку нагана. Сыплются куски штукатурки. Ругань, выстрелы — все перемешалось... И вдруг дверь с силой захлопнулась.

В короткие промежутки между выстрелами Вера Петровна диктует поручику условия сдачи в плен:

— Вы окружены, понимаете? — кричит она. В ответ раздаются выстрелы и продолжают падать куски штукатурки, покрывая осаждающих белой пылью.

С улицы тоже стреляют в окна комнаты... И вдруг... затишье. Что это, хитрость противника или он убит? Фролов бросается вперед, открывает дверь, стреляет внутрь — молчание.

— Сдавайтесь!

Снова выстрелы, но уже откуда-то сверху. Поручик бежит по крыше, прыгает в темноту. Сердобольский снова бежал...

* * *

В комнате двое: женщина в пенсне, со строгим чуть скуластым лицом — начальник отделения ВЧК Вера Петровна Булич-Брауде и мужчина с голубыми глазами, шатен, с высоким лбом — помощник начальника секретного отдела ВЧК А. Н. Тучков.

Двое? Нет. Здесь еще третий, наш старый знакомый. Он сгорбился, поседел, сидит в углу, опустив голову. Да, это архиепископ Андрей — князь Ухтомский.

Как попал сюда святой отец — организатор, идеолог и вдохновитель карательных отрядов у Колчака, известных под названием отрядов «Иисуса Христа»?

Все молчат. Потом архиепископ тихо говорит:

— Да, я все понимаю, я все осознал. Но такое смутное время, бес попутал... — И вдруг зарыдал.

Вера Петровна подает воду. Его зубы стучат по стеклу. Руки трясутся.

А очень давно... Вера Петровна вспомнила кабинет, но не такой простой и беловатый, как этот, а роскошный и неудобный, медвежьи шкуры на полу, чучело попугая, директрису, «капрала» и себя — маленькую, незащищенную перед грозными глазами черного монаха. Нет, она тогда не плакала.

С трепетом ловит архиепископ взгляды чекистов, стараясь отгадать, что они сулят ему, что кроется за ними.

Каждое ироническое замечание Веры Петровны вызывает в «старце» острый прилив животного страха — страха перед

грядущим, перед тем, что ожидает его.

Иногда же ее слова приносят ему успокоение, но ненадолго.

Жизнь! Да, он хорошо знает ее. Она стоит того, чтобы за нее побороться. Выжить! Это самое главное. Остальное само придет, приложится...

— Бойтесь? — спрашивает Вера Петровна.

— Да, боюсь, — еле шепчет архиепископ.

— Чего же?

— Смерти, расстрела.

— Но вы ведь веруете в бессмертие, и потом, по вашим понятиям, вам обеспечено место в раю.

Архиепископ рыдает.

Он выкрикивает проклятия по адресу Ваньки-каина, как прозвали колчаковского премьер-министра его коллеги.

Всех винит черный монах: друзей, соратников и даже господ бога. Вот только себе он отводит скромное, незаметное место.

И кажется, совсем забыл святой отец свои черные дела в Казани, в Поволжье, Сибири, разоренные деревни, расстрелянных людей, грабежи и насилия.

Нет, не забыл. Поэтому так печалится, так кается великосветский монах. Он в истерике падает на стол и рыдает.

В божественную силу архиепископ не верит...

* * *

В книге в большинстве случаев названы подлинные фамилии действующих лиц и только некоторые изменены.

Героев книги отделяет от современности более четырех десятилетий. Мужественные, благородные, беззаветно преданные партии и народу, Гирш Олькеницкий, Вера Петровна Брауде (Булич), Фролов, Копко и их друзья и соратники — замечательный пример служения Родине.

notes

Примечания

В мае 1918 года ВЧК получила два крайне важных письма. В первом рабочий завода «Каучук» Нифонов сообщал, что находящуюся в Молочном переулке частную лечебницу посещают какие-то подозрительные господа, больше похожие не на больных, а «на офицеров — ваше высокоблагородие» (журнал «Новый мир», 1958, № 9, стр. 149).

Второе письмо написал командир Латышского полка со слов сестры милосердия Покровской общины. Влюбленный в нее юнкер Иванов (Мешков) советовал ей на время уехать в деревню, так как в Москве ожидается вооруженное восстание против большевиков (Воспоминания зам. пред. ВЧК Петерса, журнал «Пролетарская революция», 1924, № 10 (33), стр. 12).

На основании этих сигналов Дзержинский приказал установить неослабное наблюдение за лечебницей и юнкером Ивановым. В ночь на 29 мая сотрудники ВЧК с отрядом красноармейцев окружили дом № 3 по Малолевшинскому переулку, девятую квартиру которого часто посещал Иванов. В это время в квартире происходило совещание заговорщиков. При личном обыске была обнаружена программа «Союза защиты родины и свободы», пароль и адреса в Казань (ЦГАОР, коллекция документов по истории ВЧК, д. 1, копия).

Дает вдвойне, кто дает вовремя (*лат.*).

Я сказал и облегчил душу (лат.).

Мой бог! (*Франц.*)

Честное слово! (*Франц.*)

В июле 1918 года через казанские газеты Вера Петровна Брауде объявила о выходе из партии левых эсеров.

Забастовка итальянского типа — приходить на работу, но ничего не делать.

Мать Веры Петровны — урожденная Чаадаева, потомок замечательного русского философа-просветителя П. Я. Чаадаева; отец Веры Петровны — внучатый племянник и ученик великого русского химика А. Н. Бутлерова, видный ученый-химик.

Осенью 1904 года Вера Петровна экстерном выдержала экзамен и была принята в частную Котовскую гимназию в городе Казани.

Мясникова М. К. — член КПСС с 1904 года, ныне персональный пенсионер, жена А. С. Бубнова — видного деятеля партии.

По данным ЦГА Татарской АССР (ф. 2, д. 1479, л. 6), начальник самарского губернского жандармского управления в письме к начальнику казанского жандармского управления утверждает, что автором письма «В Париж, Булич, для Веры» от 12 февраля 1908 года за подписью «Гришка» является «студент университета Вечтомов Григорий Александрович, председатель комитета РСДРП(б) в Казани».

Действительно, находясь в Париже в эмиграции, Вера Петровна получила от Вечтомова Г. А. информацию о положении в большевистском подполье. Эту информацию Вера Петровна через Людмилу Сталь и Р. С. Землячку переслала в Швейцарию В. И. Ленину, где она была опубликована в газете «Пролетарий».

В апреле 1906 года Вера Петровна была арестована и заключена в «пересылку». В мае того же года доставлена в Чистопольский уезд в имение дяди, земского начальника А. Булича, под его надзор.

Согласно данным ЦГА ТАССР (ф. 2, д. 1896, л. 278 и об.), «...8 декабря 1906 г. Вера Булич вновь была задержана на собрании в квартире Митрехиной и привлечена к охранной переписке но, ввиду привлечения ее к уголовной ответственности, таковая была прекращена...»

По данным ЦГА ТАССР (ф. 2, д. 1896, л. 278 и оборот), «Вера Петровна Булич, ученица женской гимназии, в 1906 г, подозревалась в подстрекательстве крестьян к устройству погрома в экономии помещика Булича.

Казанский полицмейстер при отношении от 17/VI 1906 г. за № 1660 препроводил анонимное письмо, в коем указывается участие Веры Булич в подстрекательстве крестьян к погрому экономии своего отца.

23 июля 1906 г. за № 5475 казанский полицмейстер препроводил «анонимное» письмо, представленное ему чистопольским уездным исправником о вредной деятельности Веры Булич».

Под анонимными письмами разумеются агентурные сообщения. Жандармерия и полиция ошибочно указывают о подстрекательстве к погрому в имении отца. В действительности речь шла об имении А. Булича, дядюшки, земского начальника, чье имение в Чистопольском уезде Вера Петровна подожгла с Мотковым и другими бунтарями. Вера Петровна также подожгла служебные постройки в имении матери (Чаадаево), но здание усадьбы, где к этому времени размещалась сельская школа, организованная ее родителями, она пощадила.

Андрей — А. С. Бубнов — видный деятель Коммунистической партии, в те годы работал в Казани.

Макар — Ногин В. П. — видный советский и партийный деятель, член РСДРП(б) с 1893 года, был членом ЦК партии большевиков.

В июле 1907 года Вера Петровна была арестована на квартире в Ярославле в момент печатания листовок. Подверглась избиению при аресте.

А. Кудряков — начальник ярославской тюрьмы, впоследствии за «особые» заслуги был выдвинут начальником Бутырской тюрьмы в Москве.

Самуил Максимович Брауде — старый большевик. В январе 1911 года Вера Петровна выходит за него замуж. Вместе с мужем она вела большевистскую работу в Самаре, Нижнем Новгороде и Казани.

Дмитрий Копко — комсомолец, сотрудник губчека, был заживо сожжен кулаками и монахами в монастыре «Раифская пустынь», куда он был направлен для ареста Сергея Сердобольского.

Никитина В. В. — жена министра почт и телеграфа
Временного правительства, савинковский эмиссар.